

т е р а п и я

«ТЕРАПИЯ» ЭДУАРДА РЕЗНИКА – ФРЕЙДИСТСКИЙ РОМАН О ХОЛОКОСТЕ, НАПИСАННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПСИХОАНАЛИТИКОМ. ГЕНИАЛЬНАЯ, СТИЛИСТИЧЕСКИ БЕЗУПРЕЧНАЯ ПРОЗА, ГДЕ РЕАЛИЗМ И СИМВОЛИЗМ РОЖДАЮТ УДИВИТЕЛЬНО ГЛУБОКИЙ, ЧУВСТВЕННЫЙ И БЕССТРАШНЫЙ ТЕКСТ».

ВЛАДИМИР МИРЗОЕВ

18+

ЭДУАРД РЕЗНИК

Первая редакция. ORIGINS

Эдуард Резник

Терапия

«ЭКСМО»

2021

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Резник Э. Г.

Терапия / Э. Г. Резник — «Эксмо», 2021 — (Первая редакция. ORIGINS)

ISBN 978-5-04-166580-7

Роман Эдуарда Резника — не по-современному эпичный и «долгий» разговор о детских травмах, способных в иные эпохи породить такие явления, как фашизм. Два главных героя «Терапии» — психотерапевт и его пациент — оказываются по разные стороны колючей проволоки в концлагере. И каждому предстоит сделать не самый просто выбор: врач продолжает лечить больного даже тогда, когда больной становится его палачом. Эта книга напомнит вам о лучших образцах жанра — таких, как «Жизнь прекрасна» Роберто Бенини, «Татуировщик из Освенцима» Моррис Хезер, «Выбор Софи» Уильма Стайрона и, конечно же, «Крутой маршрут» Евгении Гинзбург. Роман притягивает не столько описанием чудовищной действительности лагеря, но — убедительностью трактовок автора: Резник подробно разбирает мотивы своих героев и приходит к шокирующим своей простотой выводам. Все ужасы — родом из детства... Эдуард Резник родился в 1960 году. Закончил сценарный факультет ВГИКа. Автор более 20 телесериалов, фильмов, театральных пьес, поставленных в России, Германии, Израиле, США. Киносценарий по роману «Терапия» отмечен наградами на международных кинофестивалях в Амстердаме, Лос-Анджелесе, Чикаго, Берлине, Тель-Авиве. Владимир Мирзоев (режиссер): «"Терапия" Эдварда Резника — фрейдистский роман о Холокосте, написанный профессиональным психоаналитиком. Гениальная, стилистически безупречная проза, где реализм и символизм рождают удивительно глубокий, чувственный и бесстрашный текст». Александр Гельман (драматург): «Сначала кажется, что в этой книге нет смелых героев, способных бросить вызов судьбе. Люди просто пытаются выжить, и этим создают эпоху. Но жизнь назначает кого-то палачом, кого-то жертвой, и тогда героям всё же приходится делать выбор — принимать ли навязанные роли». Алексей Гуськов (актер, продюсер): «Эта история о том, как гибнет личность молодого человека, когда он доверяет поиски смысла

своего существования кому-то другому — например, государству. Рихарду всё же удаётся понять, что его сделали частью машины уничтожения, но тысячи людей заплатят за это понимание жизнями».

УДК 821.161.1-31

ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-166580-7

© Резник Э. Г., 2021

© Эксмо, 2021

Содержание

Книга первая	7
Конец ознакомительного фрагмента.	64

Эдуард Резник

Терапия

Роман не претендует на историческую достоверность. Все имена, места, события вымышлены. Все совпадения случайны.

Особая благодарность автора: Леониду Израелиту, Михаилу Каретному, Светлане Степухович, Алле Кусин, Simon Izraelit, Yuval Naor, Melanie Moore.

Книга первая

Рихард

Весь последний год мне было семнадцать. Теперь стало восемнадцать. Это как-то странно – я все тот же, а цифра другая. Какое значение имеет цифра, если есть вещи, которые год за годом не меняются? Например, мое отношение к радостным. Радостные – придурковаты и лживы. Злобные и подавленные мне ближе. Я им верю. Там, где злоба, там всегда отчаяние. Просто оно спрятано. В злобном я вижу своего. Свой – это тот, с кем можно объединиться против радостных.

* * *

Подсчет нужно вести с 1933 года – когда я жил еще в Берлине и мне было семнадцать. Если считать от этой точки, всего за мной будет числиться несколько сотен смертей – точно подсчитать уже невозможно. Да и смысла нет – двадцатый век убил больше ста миллионов, а тут вдобавок еще какой-то Рихард со своею жалкою кучкой трупов – кому это интересно?

Я понимаю, почему мне хочется рассказать о своей кучке трупов – их ведь убил я, а не двадцатый век. Уже много лет я таскаюсь по городам и весям с этой тележкой.

Трупы на тележке давно высохли, они теперь совсем легкие, да и кровь этих людей тоже высохла – раньше она стягивала мне одежду, делала ее жесткой и сковывала движения, но теперь растрескалась и выкрошилась в дорожную пыль. Там ей и место.

Появившись с тележкой в очередном незнакомом городе, я униженно пытаюсь заинтересовать своими трупами первых встреченных мною прохожих. Но все равнодушно проходят мимо. Тогда я говорю им: «Это я убил их, мне семнадцать, бросьте хотя бы взгляд...»

Но меня и мою тележку избегают – люди отводят глаза и поспешно уходят... Почему они так боятся?

Завидев полицейского, я подкатываю тележку к нему. Полицейский обязан интересоваться трупами. Но нет, ему тоже безразлично – он расплачивается за кофе, делает первый глоток, а потом, увидев, что я никуда не ушел и все еще жду реакции, насмешливо говорит:

– Иди к бесу, ты уже отсидел за это.

Да, он прав, я действительно за них уже отсидел. Но я не ищу дополнительных наказаний, мне теперь нужно совсем другое – знать, почему так случилось. Почему я оказался перемазан с ног до головы этой кровью?

Разумеется, в детстве меня тоже учили, что убивать нельзя. Я стремился быть хорошим – старательно впитывал знания, делал все, чтобы меня хвалили. Но потом началась взрослая жизнь.

* * *

Плохо, что, пока в нашем мире есть подобные мне, любое человеческое существо может быть так легко убито. Представьте: чтобы человек родился, перед этим должны родиться и прожить свои жизни сотни или тысячи поколений. На протяжении десятков тысяч лет они должны есть, спать, познавать мир, весело соблазнять друг друга, испытывая симпатию и любовь. Без симпатии и любви новые люди, как правило, не появляются. Если не учитывать таких, как я, конечно.

А потом, когда человек вырос и превратился во взрослого, предыдущие поколения должны смиренно и с некоторой печалью удалиться в туман прошлого. Или, иными словами, к чертям собачьим. Так должно длиться из века в век, и тогда в конце тысячелетней цепочки появится наконец милое, ничего не подозревающее существо – моя будущая жертва.

Для того чтобы это существо умерло, уже не требуется никакой череды поколений, никакой симпатии и никакой любви. Достаточно всего лишь одного меня. Ну и нехитрого приспособления в моей руке. И небольшого движения пальцем. Разве это нормально? Нет, не должно быть так. Это надо как-то исправить. Иначе такие, как я, будут продолжать дарить окружающим горе – у меня его на всех хватит.

Вечером, когда солнце уже скрылось, я обычно выезжаю на какое-нибудь пустынное место за чертой города. Ложусь на тележку рядом с моими никому не нужными трупами, укутываюсь в наше покрывало, закрываю глаза и пытаюсь уснуть. Тогда-то помимо моей воли и начинает звучать в голове странный примитивный марш...

Вообще, марши придуманы для того, чтобы наполнить слушателя ритмом, увлечь движением, создать ощущение радостной спешки. Это способ придать ритм и структуру любой ерунде – например, чьей-то военно-политической истерике. Вы, наверное, и без меня раньше замечали, что если любую дрянь, пустоту или глупость снабдить ритмической структурой, она начинает завораживать, гипнотизировать и казаться мудростью.

Впрочем, лучше меня вам об этом расскажут популярные певцы. А еще – мой придурковатый кумир Адольф Гитлер. Осознание его придурковатости нисколько не мешает ему быть моим кумиром. Для того чтобы придать своей галиматье ритмическую структуру, он тоже умеет играть ударами, паузами и повторами. В этом смысле каждая его речь – музыкально-поэтическое произведение. Я надеюсь, что когда-нибудь дойду до таких высот в обществе, что этот поэт и композитор обнимет меня и сделает своим другом.

В тот день я шел по берлинской Вильмерсдорферштрассе в направлении Шиллерштрассе. Этот злобненький и визгливый марш еще с утра привязался ко мне и теперь безостановочно звучал в голове. Его ритм придавал судорожную энергию всему, что меня окружало: странно дергались и люди, и машины, и даже птицы. А если какая-нибудь растерянная старуха не понимала, что от нее требуется, странно вертела головой и продолжала волочить свои сухие ноги, такой старухе, без всякого сомнения, надлежало умереть – повторив судьбу всех тех, кто не вписался в ритм моего марша раньше.

Старуха, шедшая по Шиллерштрассе, скрылась за углом, и теперь навстречу шла молодая женщина с прекрасной фигурой – ей было весело, у нее молодые ноги и широкий шаг, и она прекрасно вписывалась в марш.

Встретив мой благожелательный взгляд, она улыбнулась, и я ей тоже: почему бы не улыбнуться милашке, которая даже не подозревает, в какой опасности находится?

* * *

Я люблю идти быстро. Марш соответствует широкому шагу. Пару недель назад он тоже звучал во мне – когда энергично и твердо взлетал я по незнакомой лестнице на темный пыльный чердак – место, где мне предстояло убить свою последнюю жертву.

Дом был выбран наобум – после того как в предыдущем случайно выбранном доме чердачный люк оказался на замке – этот замок чуть не сорвал все злодеяние.

В тот день я еще не знал, что волею обстоятельств это убийство не состоится и жертва останется жива. Не знал и того, что намеченная жертва окажется, к сожалению, далеко не последней в череде моих будущих жертв.

Делу помешал один старый придурок: это был его дом и его чердак. Он жил на последнем этаже, потому и слышал шаги над потолком. Позже оказалось, что побелка с потолка просы-

палась в его тарелку – это и сорвало мне все дело. Он давно собирался залезть на чердак, чтобы закрутить там краны отопления, да все откладывал...

У него была семья – жена и дочь. Мы не могли знать, что окажемся связаны на многие годы – до самой последней его минуты, когда горячий кусок железа с шипением разворотит ему живот. Да, это может шокировать – он умер именно так.

Этот кусок железа приготовили для него на военном заводе одиннадцати-двенадцати-тринадцатилетние дети из далекой страны. Взрослые поставили их к станкам в ночную смену. Надо работать, а не играть в глупые детские игрушки, дурачиться или спать. Взрослые любят свои собственные, очень умные, серьезные игрушки. Одна из которых – война. Они ставят к станкам детей, даже если те хотят спать. Снаряды ведь надо делать и ночью.

* * *

Все, о чем я здесь пишу, происходит почти за сто лет до вас. Может быть, сейчас, когда вы читаете эти строки, я еще жив даже. Если так, жив я все равно условно – скорее всего, угасаю умом и телом в каком-нибудь зоопарке для саблезубых стариков, и сегодня, а может, завтра, меня все же похоронят.

Скорее всего, к той минуте, когда вы взяли в руки эту книгу, я уже умер. В этом случае единственное, что от меня осталось, – кости, волосы и ногти. Вы их не бойтесь – они далеко, они надежно зарыты в землю, они не восстанут и не нападут на вас. Они не агрессивны и даже в чем-то милы и трогательны.

Еще в детстве, в моем шестилетнем возрасте, когда я откопал во дворе нашего дома свой первый труп, я обнаружил, что волосы и ногти продолжают расти и под землей. Возможно, это всего лишь легенда, но те рыжие волосы действительно были очень длинными: они могли бы обмотать мою тонкую шестилетнюю шею раз десять. А если бы они зашевелились, вознамерившись задушить меня, то тогда, наверное, и все одиннадцать...

Своими размышлениями о загробном царстве я поделился в те дни с мамой. Но она отказалась говорить со мной о смерти. Она сказала, что не хочет об этом думать и что мне тоже следует забыть об этом.

Будучи послушным шестилетним мальчиком, я был рад, что на земле есть кто-то, кто знает, о чем мне думать, а о чем нет. Эта определенность дарила спокойствие и ощущение безопасности. Вот почему я сразу же честно постарался забыть об этом и забыл настолько крепко, что с тех пор уже сто лет эта смерть и эти волосы не идут у меня из головы.

* * *

Зря мама не захотела говорить со мной о смерти... Скоро у меня появилось настоящее детское сокровище – сразу несколько человеческих черепов. Они стали моими настоящими друзьями. Они полюбили меня, одинокого ребенка, и как могли старались развлечь и развеселить. Например, если поставить челюсть мостиком и как следует ударить по ней палкой, зубы выстреливали из нее не меньше, чем на два с половиной метра. Зубам нравилось веселить меня.

А если продеть веревку через глазное отверстие, а потом через позвоночное, и привязать эту веревку к велосипеду, череп звонко скакал и прыгал, как мячик, – я и представить себе не мог, что кости человека такие пружинистые и прыгучие.

Много неожиданных сокровищ для шестилетнего мальчика оставила в земле Первая мировая война. И все эти сокровища я с радостью положил бы к ногам любимой мамы. Но ее страх смерти оказался сильнее интереса к искренним подаркам сына. Поэтому самых ценных игрушек, в которые играл сын, мама так и не увидела. Жаль, что она никогда не играла в мои игры...

У вас может возникнуть вопрос: если я выжил из ума или уже умер, как же я тогда пишу эту книгу?.. Думаю, ее горе мое пишет: оно не умерло. И не умрет, даже если я потеряю память.

Я уверен, что горе умеет жить отдельно от памяти. Однажды, после войны, когда я встретил своего отца, он уже не узнавал меня. Он вообще не помнил, кто я такой. Потеря памяти прогрессировала у него быстро. Она случилась с ним очень кстати – прямо перед судом: именно благодаря ей он избежал участи других нацистских преступников. Он не помнил ничего, но горе в нем все-таки было – я это как-то чувствовал.

Вообще, горе – это хорошие чернила. Идея написать книгу чистым горем вполне осуществима. Раньше, в мои времена, чернила были такие черные, что даже отливали на свету всеми цветами радуги – желтым, зеленым, красным. Если писать книгу горем, она не будет черная. Там все цвета будут – и цвет радости, и цвет печали, и цвет надежды.

Эта книга – единственное, что осталось от того, кто потерял память. Если не считать никому не нужных костей, волос и ногтей. Она о смерти в молодом возрасте. О небесной красоте, втопанной в грязь и кровь. А еще о любви, которую я предал.

* * *

Сегодня, когда вам хреново на душе, вы бежите, наверное, к своему психологу? А когда хреново было мне, я шел убивать. Не потому что я какой-то мрачный, опасный и злой убийца, а просто потому, что так мне делалось легче, а никакого другого способа в голову не приходило. Сначала я убивал мысленно. Потом по-настоящему. Наверное, одно последовало из другого. Уверен, что доктор Циммерманн тоже увидел бы такую связь.

Сегодня, например, будет убит начальник цеха разделки рыбы. Я работаю в этом цеху уже больше месяца, мне уже девятнадцать. Этот начальник давно напрашивался. У него, наверное, есть семья, и он, должно быть, хороший человек. Но он, на свою беду, оказался причастен к системе принуждения, которая держит меня в тоске. За это по моим законам полагается смерть.

Сам он ничего пока не подозревает. Ему не понять моей тоски. Он настолько прост и жизнерадостен, что не может, наверное, испытывать подобного. Или, возможно, по вечерам он заливает тоску шнапсом. Или заглушает однообразными играми с потной уставшей женой. Которая каждый вечер безуспешно пытается убедить его, что хочет спать. Зря она пытается – бессмысленные сигналы его рептильного мозга сильнее ее желаний. А решает, разумеется, сила.

Я ничего не знаю о его семейной жизни, я незнаком с его женой, но зачем она его терпит? Зачем ей эта длящаяся годами придурковато-жизнерадостная тоска?

Этот человек сделал все, чтобы в жизни его женщины не осталось никакого праздника, – как и в моей жизни тоже. Он хочет, чтобы весь смысл моего существования свелся к разделке рыбы. Кишки налево, головы направо. Ничего себе!

Его не волнует, что планеты и звезды до моего рождения миллиарды лет крутились в холодном космосе. А потом еще миллиарды лет будут крутиться после моей смерти. А в промежутке между этими миллиардами есть краткая вспышка – миг, в течение которого возник и существую я. И этот свой бесценный миг я должен посвятить тоскливой разделке проклятой рыбы? Да как он смеет? Вот за эту дерзость он и будет сегодня убит. И на этот раз не мысленно.

* * *

Почему человека нельзя убить за его ограниченность? В частности, за то, что за рыбьими хвостами он отказывается видеть Вселенную и ее вечность? Его убийство станет освобождением не только для меня и не только для его жены, которую я никогда не видел, но и для его детей – зачем им такой отец?

Ах, они его любят просто потому, что он их папа? Нет, меня это не устраивает – такой папа не должен плодить себе подобных. У меня не было папы, и у них тоже не будет.

У их папы был отличный шанс остаться в живых, и не моя вина, что он им не воспользовался: он мог бы увидеть во мне не просто безликого работника в фартуке, а, например, человека, друга и... сына.

У него, вообще-то, уже есть двое сыновей – им шесть и восемь, я видел их фотографии у него на столе. На одной из них он учит младшего кататься на велосипеде. А Рихарда он ничему не научит – Рихард в его жизни существует не для этого. Рихард должен резать рыбу и получать за это деньги. Тот, кто не видит в Рихарде сына, согласно моим законам, заплатит жизнью.

* * *

Огромный и гулкий цех, высокие потолки, стены из красного кирпича, большие мутные окна, через которые светит солнце, – это и есть моя тюрьма. Я стою у конвейера в ряду одинаковых работников, на мне такой же, как на других, старый потертый клеенчатый фартук. Противно было впервые надевать его. Но с течением времени противное перестает быть таковым – оно сливается со мной, становится частью меня, и я тоже становлюсь противным. Фартук мне велик, но я сделал вертикальную складку и подпоясал его.

В руках у меня острый нож – он предназначен для разделки рыбы, но сойдет и для начальника. Точными быстрыми движениями я отрезаю рыбе голову и вспарываю ей живот: голова налево, кишки направо. В такт движениям рук я покачиваюсь всем телом в ритме своего марша.

Человечество под звуки этого марша ест рыбу уже миллионы лет. Тот, кто надел этот фартук впервые – пока фартук был еще хрустящим и новеньким, – наверняка уже лежит в земле вместе со своими волосами и ногтями. А тот, кто наденет этот фартук после меня, даже не будет знать, что я когда-то жил.

Звезды будут продолжать вечный полет в холодном космосе, и на одной из вымерших планет мой мертвый фартук в тишине и одиночестве будет продолжать вечное служение бессмысленному и безостановочному поеданию рыбы.

Да, вымершее человечество будет продолжать есть рыбу. Откуда ему знать, что оно умерло? Своей смерти оно просто не заметит. Никто не скажет ему об этом: некому будет сказать, если все умерли.

Сотни и тысячи лет мой фартук будет продолжать периодически менять надевающих его людей – он ведь не может работать сам, он всего лишь фартук, – в нем обязательно должен находиться кто-то умерший. Один из них сейчас я.

Может, человечество догадается когда-нибудь поставить вместо себя к конвейеру каких-нибудь дрессированных обезьянок или роботов? Это плохо, что человечество уже целое столетие стоит у конвейера – это смерть, это отупляет, это тоска. Хочется убить кого-нибудь. Лучше, конечно, поставить роботов, а не обезьянок – зачем заставлять милую обезьянку страдать так же, как страдает сейчас гордая вершина земной эволюции?

Интересно было бы заглянуть в будущее. Вы, которые читаете меня через сто лет, – вы продолжаете стоять у конвейера? Если да, то какого беса? Немедленно бросайте эту тоскливую дрянь, и тогда стоимость вашего труда взлетит до небес: роботы благодаря этому появятся быстрее, и людям больше не придется самим превращаться в роботов и губить за бесценок не только свои жизни, но и жизни будущие.

Будущие жизни – это мы, ваши дети. А губить нас – это отдавать нас по утрам на растерзание общественным воспитателям. Общественные воспитатели – это злые звери, а злы они потому, что живут в тоске. А тоска у них потому, что их работа – это тот же конвейер, что и ваш. Только вместо рыбы на нем – мы, ваши дети.

Передача нас на шестеренки этого конвейера – предательство тех, кого доверил вам бог. Небесное доверие вы обманываете привычно и ежедневно. Нет, на этом конвейере воспитатели не вспарывают нам кишки и не отрезают нам головы – тут вы можете быть спокойны. Они всего лишь превращают нас в солдат.

Из этих солдат складываются потом целые армии: это и есть причина, почему каждое столетие вы гибнете сотнями миллионов. И будете гибнуть, пока не измените это. Но вы не измените – потому что вы предпочитаете не замечать своего предательства.

Вы не хотите замечать наших слез, наших тревог и страхов, нашего отчаяния и горя. Вы не чувствуете холода и одиночества, в которых мы живем каждый день. И своей смерти вы тоже не замечаете – потому что вы сами рыба. Кишки налево – ваши. Головы направо – тоже ваши. Так вам и надо – продолжайте умирать сотнями миллионов.

Кстати, если вы даже не отдадите нас общественным воспитателям, а растите сами, это тоже предательство. Потому что все равно вы рыба на чьем-то конвейере, а рыба – плохой воспитатель.

Вся ваша жизнь – это служение конвейеру, а также движение по нему – навстречу несколько печальному расставанию со своими кишками и головой: в угоду кому-то таинственному и незримому, кто съест вас за семейным столом.

Вот почему все, на что вы способны в смысле воспитания детей, – это безостановочно мстить ребенку за свою тоскливую судьбу. Ежедневно вытаскивать из него кишки. И бросать их налево. Отрезать ему голову. И бросать ее направо. Вот максимум того, на что вы способны.

Вы поедаете собственных мальков. И вам вкусно. Вам не надо иметь детей. Остановитесь. Не рожайте нас. Все, что от вас требуется, – продолжать тоскливо гибнуть миллионами. Пусть вы все умрете. Пусть планета опустеет. Пусть так длится до тех пор, пока вы не захотите понять хоть что-нибудь из тех очень простых вещей, которые без всяких умных книжек понимают животные, когда растят своих детенышей.

* * *

То, что нас окружает, неизбежно становится частью нас. Доктора Циммерманна, например, окружают портреты каких-то строгих научных бородачей – из-за этого он и сам кажется бородатым и научным, хотя подбородок у него безволосый, как моя пятка.

Его работа не требует фартука, он не стоит в тоске и сырости, сжимая нож, обмотанный рыбьими кишками, – к нему приходят хорошо одетые люди и в сухой уютной обстановке рассказывают ему свои истории.

Эти люди, а вместе с ними и их истории, становятся, наверное, частью его самого – он ведь о них думает даже тогда, когда этих людей нет рядом. Он переживает за них и вспоминает их слова – разумеется, не из сочувствия, а всего лишь потому, что они наполняют его пустую жизнь хоть какими-то переживаниями.

А ко мне никакие хорошо одетые люди не приходят. Вместо них бесконечным потоком едет мертвая рыба – день за днем, месяц за месяцем, столетие за столетием. Просто обезглавить. Просто вспороть ей брюхо. Ни одна рыба пока еще не попросила, чтобы в сухой уютной обстановке я выслушал ее историю.

Впрочем, какая у рыбы может быть история? Такая же, как у всех остальных рыб: ужасно волнующая – о том, как плавала она в воде, увлеченная поиском своего червячка, а также, допустим, руководствуясь неотчуждаемым стремлением к счастью. Но тут всех вдруг накрыло какой-то непонятной сетью, и все сразу очутились здесь, на этой черной страшной ленте. И эта лента с грохотом и дрожью едет куда-то во мрак, из которого никто пока еще не вернулся живым... «Что я сделала не так? – спрашивает себя, наверное, рыба. – Как мне надо было

жить, чтобы не попасться в эту сеть? Может, я неправильно плыла? Неправильным червячком увлеклась? К неправильному счастью стремилась?»

Странно здесь то, что люди день за днем раскидывают свои сети уже сотни лет, но для рыбы, оказавшейся в сети, это всегда почему-то неожиданность.

* * *

Сейчас эта бедная рыба, охваченная мучительными посмертными сомнениями в правильности выбранного ею червячка или правильности своего стремления к счастью, проплывает передо мной по ленте, и так длится день за днем и ночь за ночью.

После того как рыба мелькает перед моими глазами целый день, она и ночью меня не покидает – снится. Я просто чувствую, как она становится мной, а я становлюсь ею. Думаю, недалек тот день, когда я проснусь, почешу себе бок и в недоумении обнаружу там чешую, плавник и жабры.

Смысл этой рыбы, пока она едет по конвейеру, в том, чтобы ей отрезали голову и выпустили из нее кишки. Больше ни за чем она на этом конвейере не нужна. Пока я стою у конвейера, смысл этой рыбы становится и моим смыслом. Почему я до сих пор не вспорол себе живот и не отрезал себе голову?

Знаете, выпуская рыбе кишки, я не испытываю никакого омерзения – иначе я не смог бы здесь работать. Даже наоборот, каждое обезглавливание, каждое вспарывание живота дарит мне еле заметный импульс чего-то приятного. Если вы думаете, что я какой-то больной маньяк, получающий удовольствие от проникновения холодным ножом во влажную плоть еще живого минуту назад существа, вы ошибаетесь. Да, это малоприятный процесс. Но он дарит мне ощущение полезности миру. Я не могу без этого.

Возможность быть полезным дарится тем обстоятельством, что наш мир стыдливо и безостановочно нуждается в этой варварской дряни – в обезглавленной рыбе с выпущенными кишками.

Природа создала рыбу красивой. Такой она ко мне и поступает. Но такая рыба не нужна человечеству. Чтобы человечеству было хорошо, голову надо отрезать. И вот именно для этого у человечества есть я. Теперь вам понятна истинная цель, ради которой появилось на свет волшебное, уникальное чудо природы по имени Рихард Лендорф?

* * *

Рыба – это не только моя нужность миру. Это еще и общение. Посылая человечеству обезглавленную рыбу, я общаюсь с огромным количеством людей: например, с теми, кто будет есть ее за семейным столом. Или с теми, кто в каком-нибудь ресторане будет ее жарить.

Я незнаком с этими людьми и никогда их не увижу, но я чувствую их теплоту – я знаю, что эти люди есть, их много, я с ними связан через молчаливое рыбное взаимодействие, и таким образом мы вместе. А ведь это так прекрасно – не быть одному, а быть всем вместе!

Вот это я и скажу кому-то, кто когда-нибудь снова заплачет внутри меня от одиночества. Суну эту мертвую, скользкую, холодную рыбу ему в морду и скажу: кончай плакать, придурок! Радуйся, что ты не один!

* * *

Доктор Циммерманн как-то сказал мне, что задачей искусства является свидетельство прекрасного. А в данном случае вы и сами видите, что с прекрасным у этого человека про-

блема. С ногтями и волосами проблем у него нет, а вот с прекрасным – увы. Так что советую переключиться, пока не поздно, – например, на какую-нибудь сказочку о том, как добро побеждает зло. Добро в сказках всегда побеждает. А здесь оно не победит.

Этот призыв был сделан только для радостных. А те, кто в злобе и отчаянии, их я попрошу не бросать меня. Я не хочу плакать во мраке один, и вы не хотите. Зачем, если можно плакать вместе?

Теперь, когда я уже столетний посмертный дед, могу сказать с уверенностью, что люди делятся в первую очередь на радостных и безрадостных и только во вторую очередь на богатых и бедных, черных и белых, мужчин и женщин, больных и здоровых, молодых и старых.

Мы, безрадостные, всегда находим друг друга в толпе. А радостные нас не видят. Нас для них нет. Мы видим всех, а радостные – только себя. Мы никогда не поймем их, а они нас. Им действительно лучше держаться своей радостной компании, читать друг другу сказки о победе добра, а нас к себе не пускать.

Злу нравятся такие сказки. Его радует, что каждый имеет возможность пережить радость победы, даже не взяв в руки меч. Злу нравится, что в сказках оно выглядит таким победимым. Радует, что герои, бросившие вызов злу, выглядят такими смелыми, красивыми, а главное – живучими. Радует, что наше сознание инфицируется верой в неизбежную победу хорошего и волшебного над всем плохим и реальным.

Зачем нам реальность, если можно всю жизнь прожить в парах волшебного напитка? Забегая вперед, могу сказать, что доктор Циммерманн, например, прекрасно провел в этих парах все отпущенные ему годы, чем избавил себя и своих близких от многих и многих лишних хлопот, а заодно и от долгих лет жизни: все погибли.

* * *

Начальнику цеха сегодня повезло: я на мгновение замер перед лентой конвейера, после чего со всей дури вдруг вонзил нож в упругую плоть проезжавшей мимо рыбы. Я проткнул заодно и конвейер: нож вошел в ленту почти по рукоятку – вот какая сила в этот момент во мне оказалась. Конвейер остановился. В цеху включилась сирена. Работники стали растерянно переглядываться – еще бы, я посмел на несколько минут оставить их без смысла жизни.

Послышался недовольный мужской голос:

– Кто остановил конвейер?

Начальник цеха был убежден, что остановка конвейера – это плохо. Он просто не знал, что на самом деле это хорошо – ведь сегодня вечером он не помчится с веселым ветерком в морг, а пойдет домой, где увидит свою семью.

Я обнаружил, что стою в напряжении и мои губы плотно сжаты. Еще я обнаружил, что плачу. Подошел начальник цеха. Он удивленно посмотрел на мои слезы и без лишних слов отправил меня домой. Как это бесит, когда придурки, вызывающие злобу, оказываются милосердными.

* * *

Выйдя из цеха, я пошел по самой тихой улице из возможных – никакой суматохи, никаких трамваев. На подоконниках буйно росли цветы, откуда-то доносилась приятная музыка, а за столиком уличного кафе две милые старушки пили кофе и кормили птичек. Неподалеку от старушек элегантный мужчина цветами встречал женщину, пришедшую к нему на свидание. Ни одна из кофейных старушек не нарушала милую идиллическую картинку, захлебнувшись, к примеру, своим кофе и оттого упав, допустим, под стол замертво.

Вообще-то, я шел не домой. Я работаю еще в одном месте. Хотя из цеха отпустили сегодня раньше, все равно не было смысла делать крюк, чтобы появляться дома минут на сорок.

Мой путь лежал через парк больницы. На скамеечках грелись пациенты. У одного из них стекала со лба на глаз ярко-белая птичья какашка, но пациент не замечал этого: несколько минут назад, читая газету, он умер. Впрочем, этого никто пока не заметил. Я что, единственный, кто видит смерть?

Это странно, но я вижу ее везде – даже когда она еще спокойненько ходит среди живых, вполне по-дружески приглядываясь то к одному, то к другому. Это помогает мне в каждом живом заранее увидеть мертвого. В самом себе тоже – иногда я лежу на кровати, рассматриваю свои красивые руки и ноги и ясно и спокойно представляю их неизбежную будущую безжизненность.

На первой странице газеты, которую держал в руках сидевший на лавочке мертвый пациент, виднелся заголовок: «Фюрер с энтузиазмом приветствует...» Четкие крупные буквы и категорический черный цвет не оставляли никакого сомнения в столь благотворном для всей Германии энтузиазме фюрера.

О том, что именно воодушевило фюрера, я прочесть не успел – ветер перелистнул страницу, а потом, чуть подумав, вообще вырвал газету из рук покойника – понес ее куда-то вверх, в небо, а потом еще выше – зачем? Чтобы где-то в городе опустить ее в руки тех, кто еще изнывает в неведении относительно этой охренеть какой важной новости.

Я никогда не мог отделаться от сопоставления себя с фюрером. Почему его энтузиазм интересен всем? Почему о нем пишут газеты? Что мне надо сделать, чтобы мои чувства стали для всех так же важны, как чувства фюрера? Как мне стать фюрером? Как сделать так, чтобы любой полумертвый придурок с обосранным лбом до самой своей никому не нужной последней минуты судорожно сжимал в сухих ручонках эту драгоценную для него бумажку, которая казалась бы ему драгоценной всего лишь потому, что на ней написана какая-нибудь напыщенная галиматья о моих чувствах?

Впереди возвышалось старинное, красного кирпича, внушительное здание больницы – я шел туда. Там меня тоже никто не ждал. Впрочем, нет – меня там ждали. Если в цеху меня ждала мертвая рыба, то тут меня ждала целая сотня мертвых людей: я работал в морге.

Работы у меня всегда было много. Дело в том, что покойники – ужасно беспокойные существа: тихими и бесхлопотными они кажутся только на первый взгляд. На самом же деле они обожают свободу и беспорядок; они любят распространяться по коридорам и помещениям, всегда оказываясь не там, где надо. Они как дети в детском саду – всегда непослушны, все время в движении, не признают тихого часа и ни за что не соглашаются лежать ровными рядами.

Нет, в морге они совсем не такие, какими оказываются потом на кладбище. Здесь у них быстрые тележки на колесиках, а на кладбище у них нет ничего, кроме куска земли на строго указанной глубине. Там уже никакой свободы. Там им, видно, совсем уж тоска. Думаю, что каким-то образом они предчувствуют свое мрачное предстоящее, поэтому и пользуются минутой – резвятся как могут.

К примеру, если патологоанатом принялся вспарывать кому-то из них брюхо, он никогда не вернет свой препарат на место – никогда не отвезет туда, где взял. Это должен сделать я. Если под неумелыми руками какого-нибудь студента из анатомического театра кто-то из покойников неловко перевернется на бок, лицом вниз или упадет с тележки, поднимать его буду тоже я. Одного из покойников однажды утром обнаружили сидящим на унитазах. Как он там оказался? В туалет захотел? Сам дошел туда среди ночи? Ради чего он собрался с последними силами и бросил дерзновенный вызов смерти? Вспомнил, что не успел завершить в своей жизни что-то важное, без чего не найти человеческой душе окончательного успокоения? Решил привнести в этот мир еще немного того, что и так нес в него всю жизнь? Кстати,

иногда покойники действительно оживают. Но, как правило, не для этого. А может, какие-то шутники над ним позабавились? Студенты, к примеру.

Возвращать покойника на положенное ему место буду не я один. Одному мне это не под силу. У меня есть напарник – Гюнтер. Гюнтер – моя личная тоска, заслуживающая отдельного абзаца. Разумеется, по свободной воле я Гюнтера никогда в друзья не выбрал бы – моя подлая жизнь навязала мне его.

Вне зависимости от того, что хотят видеть мои глаза, они всегда упираются в Гюнтера. Мало кто вызывает во мне такую смесь жгучей ненависти и презрения. Нисколько не приспособленный к жизни старый толстый недоделок, большой ребенок – несмотря на преклонный возраст. Всегда нелепо одетый, непрерывно источающий резкий тошнотворный запах – по любому поводу и даже без повода: от удивления, от негодования, от волны симпатии или антипатии, в день рождения фюрера или в день смерти Клары Цеткин – в любую минуту и в любой день недели к вашим услугам новая волна боевого отравляющего вещества с полей Первой мировой войны.

Я, конечно, понимаю, что такому толстому шестидесятилетнему ребенку трудно мыться – он не в каждую душевую поместится, да к тому же его маленькие ручонки просто не смогут дотянуться до дальних краев тела – чтобы что-нибудь там, к примеру, намылить. Кстати, о намылить – интересно, как он дрожит? Ему же не дотянуться до нижней части своего глобуса. Или все-таки есть люди, которые не дрожат? Раньше его мыла и одевала мама. Да, представьте – этот дед жил с мамой до самой последней ее минуты. После смерти мамы уже некому было мыть беднягу, а также менять ему одежду. А умерла она, к вашему сведению, уже больше года назад. Так что можете себе представить, сколько сыновней скорби за этот год источило это трижды проклятое тело и какой экстрамноголетний коньяк из волшебной смеси его мочи и пота каждое утро бодрит меня в те дни недели, когда я прихожу сюда на работу.

Теперь, мне кажется, стало понятно, как мне вытравить этого Гюнтера из памяти. Я совсем не хочу, чтобы он пропитывал своей вонью те воспоминания, которые соседствуют с ним в моей голове: я мысленно расскажу о нем доктору Циммерманну. Я уверен, что этого будет достаточно – доктор всегда знает, что делать со всяким мусором, который во мне скопился.

* * *

Сегодня, еще даже не появившись в анатомическом зале, первым делом я отправился прочить. Обычно я делаю это в больничном туалете, хотя, конечно, место это очень узкое: когда дверь открыта, она ударяется о раковину. Но мне больше места и не нужно. Гюнтер бы точно не поместился, но это не моя проблема.

Дрожить мне, вообще-то, в этот момент не требовалось. Просто, знаете, какая-то нервозность, взвинченность, непонятная тревога, и да – тоска от неизбежности предстоящего убогого четырехчасового общения с тупой земноводной рептилией по имени Гюнтер: все это требовало хоть какой-то компенсации прямо сейчас, какого-то срочного, безотлагательного телепортирования в другой мир, в другое измерение, где нет и не может быть никакого Гюнтера, и где сладкая, тихая и волшебная смерть на несколько мгновений заберет меня в страну исчезновения всех желаний, начисто остановит суетливое течение времени и хотя бы на мгновение соединит с черной тишиной вселенной.

Я запер обшарпанную дверь, привычно проверил ржавый крючок на крепость, закрыл глаза и сосредоточился на общении с вечностью. Но тут в дверь постучали.

– Рихард, ты здесь? – послышался высокий скрипучий голос Гюнтера.

Я замер. До начала рабочего дня оставалось еще минут десять. Как оказалась здесь эта земноводная дрянь? Он ведь даже не знал, что я уже в больнице! Я растерянно смотрел на

дверь, пытаюсь понять, что мне делать с предстоящей телепортацией – продолжать или попрощаться с надеждой?

Гюнтер стоял с той стороны двери и тяжело дышал. Он всегда так дышит. Несмотря на то что я его не видел, я был уверен, что он сейчас одет в широкие выцветшие штаны и полосатые подтяжки поверх клетчатой рубашки: без подтяжек с него все сваливалось. Эх, мама, мама, маленькая трогательная старушка, из которой шестьдесят лет назад вылезла эта тяжелая расползшаяся туша. Старушка, которая все последние десятилетия с готовностью и увлечением пыталась наполнить свою убогую жизнь единственным доступным смыслом – неустанной заботой о своем престарелом малыше. Если бы ты была жива, утром ты бы обязательно его помыла и передела. И тогда я уже ни за что не взялся бы предугадывать, в чем сегодня появится на людях твой бедный драгоценный ребенок.

– Я знаю, что ты здесь, – нетерпеливо сказал Гюнтер. – Делай свои дела быстрее. Ты мне нужен. Быстрее!

– Не проблема, можно и быстрее, – тихо сказал я и спокойно возобновил прерванную телепортацию.

Громкое хриплое дыхание Гюнтера указывало, что он продолжает стоять за дверью.

– Чем ты там занимаешься? – бестактно спросил он.

– Отгадай! – зло крикнул я.

– Приходи в зал... – тихо сказал Гюнтер и удалился тяжелой шаркающей походкой.

В огромном зале больничного морга на каталке лежал труп старушки. Нагая, морщинистое сухое тело, длинные седые волосы. Я так и не узнал, как выглядела мама Гюнтера – меня не было в ту ночь, когда ее привезли; а похоронили ее очень быстро – в то же утро. Возможно, она выглядела как эта. Мне рассказывали, что в тот день Гюнтер сидел на полу, забившись в угол, и плакал – горько, как ребенок. И его отпустили домой – прямо как меня сегодня из рыбного цеха.

Интересно, если бы в тот день я был на работе, обнял бы я плачущего Гюнтера? Что победило бы во мне – сочувствие к бедняге или ненависть к его телу?

Вот такие дела, мама Гюнтера. Сначала ты удушаешь ребенка заботой, принимаешь за него решения, ограничиваешь его свободу, каждым своим шагом деятельно и энергично доказываешь ему, что без тебя он – ничто, и все это помогает тебе достичь цели – он не может без тебя обходиться. Он боится высунуть нос из вашего дома, боится мира, боится жизни, и вы десятки лет, к твоему удовольствию, живете вместе.

Он любит тебя и одновременно ненавидит. Любит за то, что ты продолжаешь заботиться о нем – продолжаешь принимать за него решения. А ненавидит – за то, что ты его тюрьма.

Ты тоже любишь своего сыночка: он ежедневно спасает тебя от одиночества. Именно спасение от одиночества и было твоей целью, когда ты запрещала ему развиваться. А ненавидишь ты его за несамостоятельность. И за его страхи. Ты отказываешься признать, что его страхи – это, вообще-то, твои страхи. Его несамостоятельность – это твоя несамостоятельность. Ты отказываешься увидеть в нем себя. Ты отказываешься признать, что вырастила себе зеркало. Из живого человека ты сделала кусок зеркального стекла. И теперь он для тебя такая же тюрьма, как ты для него: ты даже умереть теперь не имеешь права. Потому что – а как же он без тебя будет?

И вот, год за годом, две тюрьмы живут вместе. Каждая тюрьма служит тюрьмой для другой тюрьмы. Каждая тюрьма сидит в тюрьме другой тюрьмы. Их решетки сплелись и теперь настолько неотделимы, что уже невозможно понять, кто узник, а кто тюремщик. Они к этому привыкли, их несвобода им нравится, обоих это устраивает. Но приходит минута, и одна из тюрем умирает.

Умершая тюрьма больше неподвластна страху одиночества – она ведь умерла, и вместе с ней умерли все ее страхи. Поэтому вторая тюрьма теперь свободна. Но как это – быть свобод-

ной? Она не умеет, она не привыкла, ей страшно. И она сидит на полу, забившись в угол, и плачет – горько, как ребенок, у которого умерла мама.

Жаль, что мне открылось это понимание только после того, как доктор Циммерманн подарил мне свой взгляд на мир. А проросло оно во мне намного позже – только после того, как умер я. Если бы я оказался способен воспринять все это раньше, я, возможно, смог бы как-то помочь Гюнтеру, и тогда он не умер бы так скоропостижно – мало кто умирает скоропостижно, если ему хочется жить. Гюнтеру уж точно не хотелось.

Сейчас живой и тяжеловесный Гюнтер стоял рядом с этой сухой седой старушкой и с неудовольствием смотрел на меня. Его руки были уже в перчатках. Я поспешно шел по залу, надевая перчатки на ходу.

– Чего смотришь? – огрызнулся я. – Скоро и тебя сюда прикатят.

Вдвоем мы легко подняли старушку за руки и за ноги и переложили на стол.

– Над стариками смеяться некрасиво, – обиженно сказал Гюнтер. – Я продал себя ради науки.

– Ага, – сказал я. – А вовсе не ради денег и экономии на похоронах.

– Ты всегда злой, – сказал Гюнтер, вытирая пот. – Ты не устал так жить?

Стол обступили студенты в белых халатах. Перед ними стоял профессор со скальпелем в руке. Я оказался в гуще студентов и, раз уж так получилось, стал тянуть шею, пытаюсь увидеть что-то впереди. Плечо высокого студента мешало мне, но я не мог попросить его отодвинуться – он заплатил за учебу, а я нет.

Гюнтер, заметив, что я не ухожу, задержался в дверях:

– Пойдем отдохнем, чего там смотреть?

– Ты что, голая старуха, самый шик, – сказал я.

Укоризненно покачав головой, Гюнтер ушел. Высокий студент обернулся и посмотрел на меня со сдержанным негодованием. Я виновато опустил глаза.

– Итак, что у меня в руке? – громко спросил профессор.

– Скальпель, – ответил студент.

– Нет, – ответил профессор, хотя в правой руке у него действительно был скальпель.

– Сухожилие четырехглавой мышцы бедра, – тихо брякнул я, но в тишине все услышали.

Студент снова оглянулся и удивленно посмотрел на меня.

– Правильно, – сказал профессор. – Кто сказал это?

Я согнулся, пробрался к выходу и бесшумно исчез.

* * *

Я шел по больничному коридору в настроении хуже некуда. Если бы у меня были деньги, я мог бы учиться на врача. Я легко обогнал бы всех этих мальчиков из хороших семей. Но, с другой стороны, учеба могла бы мне наскучить, и тогда пришлось бы бросить ее. Деньги бы при этом пропали. Вот как хорошо, когда нет денег – нет пространства для ошибок. Как в гробу – там тоже нет пространства и там никто не ошибается.

Сзади меня в коридоре послышался стук копыт. Я оглянулся. Меня догоняла высокая сухая кобыла с желтыми от непрерывного курева лошадиными зубами и скрипучей садомазохистской кожаной сбруей, угадывавшейся под белым халатом, – это была доктор Шох.

– Рихард, я везде ищу тебя! – человеческим голосом всхрипнула кобыла, и мне в нос ударила смесь крепкого мужского курева и потной сбруи.

– Дай угадаю зачем. Хочешь запереться со мной в кладовке, – сказал я.

Мне нравилась фрау Шох. Например, своей грубоватостью, а также низким мужским голосом. Но главное – с ней были возможны рискованные матросские шутки. Стоило завидеть ее, они сами лезли на язык, и мне становилось легко и весело.

Уж не знаю, хорошим ли она была врачом, но пациенты ее обожали. Она была харизматична, сильна, уверена в себе. Это очень важно для пациентов – они мечтали передать себя или своего близкого именно в такие руки. Другие критерии все равно были им недоступны. Пациенты благоговели перед нею – в ее присутствии склоняли спины, говорили тихими голосами. Они бы просто разгневались или даже упали в обморок, если бы увидели, в каком стиле я позволяю себе общение с их непарнокопытным божеством.

Я, кстати, тоже никогда не позволил бы себе ничего подобного и с готовностью влился бы в этот хор всеобщего благоговения, если бы в тот далекий день не оказался пьяным. В тот день она спросила меня: «Вы и есть наш новый сотрудник?» Я видел ее впервые. Пытаясь рассмотреть ее через мутную пелену, застилавшую глаза, я с искренним удивлением миролюбиво спросил чуть заплетавшимся языком – безо всякой связи с ее вопросом: «Послушай, скажи мне прямо – ты женщина, мужчина или лошадь?»

Это было недопустимо, чтобы какой-то малолетний перетаскиватель трупов посмел интересоваться, к какой фауне относится стоящий перед ним доктор: доктора были боги, за такой вопрос легко могли уволить. Но она лишь рассмеялась и грубовато потрепала меня по голове. Ощувив ее руку в своих волосах, я вдруг уловил в теле горячую волну бойкого энтузиазма. Я обрадовался ему и уже хотел было сделать шаг ему навстречу: даже схватил эту лошадь за руку. Но она с улыбкой вытянула свою руку из моей, и никакого продолжения не последовало – моя рука безвольно упала обратно в алкогольную дремоту.

Почему она остановила меня? Потому что я был чуть пьян? Но это же мелочь! Разумеется, я не мог ей не понравиться – я же просто суперский молодой красавчик, с классной кожей, мускулами и волнующей худобой, которая всегда так нравится всем этим перезрелым старым скаковым клячам. Так что я не мог ей не понравиться – это просто категорически исключалось сразу же, а потом, вслед за этим, тут же исключалось еще несколько раз подряд.

Наверное, будучи женщиной умной, она просто не хотела ничего подобного на работе. Если бы мы с ней встретились где-нибудь в кафе, в парке или на улице – тогда, разумеется, пожалуйста.

А может, дело было в том обстоятельстве, о котором я узнал намного позже, – у нее была женщина: медсестра в урологическом отделении. Удивительной красоты, нежная, женственная богиня. Союз этой богини с лошадью оказался прекрасным и трогательным. Их чувства были взаимны. Это становилось ясно, когда они думали, что их никто не видит.

Разумеется, у меня не было ни малейшего шанса вторгнуться в их зоофилическую идиллию. Я не мог предложить им ни души, ни теплоты, ни какого-либо хоть немного человеческого отношения. Все, что у меня тогда имелось, – это деревянной твердости голый юношеский энтузиазм, искрометная глупость, запах шнапса изо рта, а также глубокий и безмятежный детский сон – уже через секунду после быстрого, искреннего, по-детски непосредственного оргазма.

Теперь-то, вспоминая все это, мне даже страшно при мысли о том, что моей первой женщиной могла оказаться эта состоящая из связок и сухожилий мужеподобная скаковая лошадь. Я с гораздо большей готовностью предпочел бы лучше первый опыт с ее нежной и таинственной урологической богиней. Но в тот день я был для такой разборчивости слишком пьян. И кончилось это тем, что к тому моменту, когда я брякнул про сухожилие четырехглавой мышцы бедра и покинул комнату с мертвой седой старушкой, вообще никакой первой женщины в моей жизни еще не случилось.

Вообще-то, когда Лошадь сбросила с себя мою руку, мне стало грустно и холодно. Да, я не отрицаю, я хотел проникнуть в ее плоть, но вовсе не с тем унылым намерением, с которым лезут туда зрелые усатые мужчины. Для зрелых усатых мужчин это настолько скучная автоматическая обыденность, что они даже сами иногда не замечают, что вообще-то куда-то лезут. Я таким не был – я был ребенком. А она была зрелой женщиной. И этот ребенок стремился к

матери, он хотел проникнуть обратно в тепло и нежность материнской утробы: ему одиноко и холодно, а инцест обещал тепло – неужели она не поняла?

А может, каждый мужчина, когда стремится проникнуть в женщину, делает это потому, что хочет обратно в женскую утробу? Не только те, у кого недавно умерла мама?

Моя мама никогда меня не обнимала. Может, если обнимала бы побольше, шнапса в моей жизни сейчас было бы поменьше.

Вот скажи, Лошадь, зачем ты оттолкнула человеческого детеныша? Разве не знаешь ты, что собаки растят котят, кошки растят собачьих щенков, и всякая тварь животного мира растит при случае детей своих злейших врагов – только потому, что они дети?

Я обнаружил, что таким, каким мне хочется быть, я становлюсь только когда выпью. Добрым, легким, спокойным, всепрощающим. Я отпускаю все поводья, все весла, все рули – чтобы все ехало, плыло и брело само по себе, с легким позвякиванием, с тихим шелестом, в какой-нибудь тишине утреннего тумана... В такие моменты мне хочется любить всех и плакать от счастья и необъяснимого восторга. Где взять талант быть таким всегда?

Жизнь на нашей планете основана на воде – реки, моря, океаны, всюду у нас вода, и это считается счастьем. Но какое же это счастье, если вода – главная беда нашей планеты? Она же нисколько не затуманивает мозги. Она оставляет их ясными. Ясными мозгами люди потом придумывают порох, оружие, политику и прочие способы убить друг друга. Что в этом хорошего?

Если исходить из бесконечного вселенского разнообразия, на какой-нибудь планете в далеком космосе вместо воды обязательно окажется шнапс. И все живые организмы там будут на шнапсе зиждиться. Какие же они там, должно быть, все милые, добрые, веселые? Вот куда мне надо. Земля для меня слишком трезвая – люди на ней чересчур умные, рациональные, целенаправленные. Мне среди них трудно. Все они куда-то спешат. Как бы не спиться мне.

– Эта шутка состарилась, – ответила фрау Шох на мое предложение запереться с ней в кладовке. – Привезли ребенка, четырех лет, попал под телегу.

– Я не врач, – напомнил я.

– Нужна кровь. Подходит только твоя.

– Я сдаю за деньги.

– У родителей мальчика денег нет.

– Тогда убейте его, и кровь не понадобится.

Фрау Шох молчала. Я тоже молчал. Ее трясло от злости и отчаяния. Я видел, что ей так хочется спасти этого ребенка, что она готова даже ударить меня.

Разумеется, она понимала, что перед ней не бутылка с редкой кровью, а живой человек. Она понимала, что это моя кровь, и распоряжаться ею буду только я. Но такой ли уж великой ценностью я распоряжался? Такой ли уж великой ценностью мог я себя ощутить, если стоял сейчас под нетерпеливым взглядом отвергнувшей меня женщины – такой злой, такой взволнованной – и безошибочно понимал, что стремление у нее только одно – чтобы кровь из кого-то менее ценного, стоящего тут перед нею, как можно скорее перетекла бы в кого-то более ценного, кто лежит где-то этажом выше, и из кого жизнь сейчас капля за каплей утекает с каждой минутой...

* * *

Я никогда не видел ребенка, о котором шла речь. Жить ему, разумеется, было совершенно незачем. Как и всем, кто его окружает. Включая меня, конечно. Я понимал, что волею случая жизнь его оказалась именно в моих руках, и я вроде бы не имею права использовать это обстоятельство для того, чтобы принудительно направить умирающего туда, где ему будет явно лучше. Но мне плевать на право, я продолжал стоять на месте.

Злая кобыла продолжала смотреть на меня. Ее бедра вздрагивали. Из ноздрей вырывался воздух. Мы, наверное, уже должны были бежать куда-то по коридору, но я не собирался никуда бежать. Что-то бесило меня ужасно. Наверное, я просто хотел отомстить этому четырехлетнему ребенку. Почему вокруг него все бегают, а вокруг меня не бегают никто? Почему его жизнь имеет для всех значение, а моя не имеет? Какого черта моя кровь должна перетечь в кого-то другого? Почему из меня все время что-то выкачивают? Когда мое останется мне? Почему этого маленького фюрера все любят и дружно пытаются спасти? Каким фокусом этот фюрер с такой легкостью собирает вокруг себя взволнованные толпы? Чем он лучше меня?.. Чем он ценнее?.. Он даже рыбу разделать нормально не умеет!

Все эти мысли не помешали понять, что я не хочу терять дружбу этой желтозубой лошади, и даже более того – не хочу отнимать жизнь у проклятого детеныша.

– Ладно, пойдём... – нехотя сказал я, и мы побежали по больничному коридору.

Спустя несколько секунд я уже лежал с закрытыми глазами на кушетке в комнате переливания крови. Около меня возилась со шприцем пожилая медсестра Гудрун – плотная, коренастая, с толстой шеей и красной сетью кровеносных сосудов на пухлых щеках. Откуда в ней столько крови? Пациенты уходят от нее бледные, обескровленные, шатаются, держатся за стены, в то время как она всегда красна, полна сил и лопается от гипертонии. Тайно добавляет в свой шнапс кровь из пробирок?

– Отличная вена... – пробормотала Гудрун. – Голова не кружится?

Я не ответил. Я и сам знаю, что вена у меня отличная – я ее когда-то резал; впрочем, неудачно – остался жив. И все из-за того, что слишком хорошая вена.

Коричневая кровь начала наполнять пробирку. Интересно, кому эта кровь достанется – раненому ребенку или алчной Гудрун? Я смотрел на пробирку и недоумевал – мне почему-то показалось, что эта кровь не моя. Но тогда чья же?

– А теперь займемся девушкой... – тихо сказала Гудрун.

Я оглянулся. На соседней кушетке лежала девушка. Ее острая грудь смотрела вверх – к потолку. Мне захотелось запрыгнуть на ее кушетку одним прыжком, прямо с пола, после чего весело посмотреть ей в глаза. Разумеется, девушку это ужасно развеселило бы. Без всякого сомнения, она была бы счастлива – я ведь уже говорил вам о том, какой я, в общем-то, красавчик. Но эти трубки, по которым текла сейчас моя-не-моя кровь – они привязывали меня к кушетке и исключали всякую романтическую возможность быть неожиданным, быстрым и веселым.

Гудрун сосредоточенно вколола иголку девушке в вену. Девушка вскрикнула, побледнела. Я громко рассмеялся. Гудрун поднесла к ее носу нюхательную соль. Девушка задышала глубже, скосила взгляд в мою сторону. В ее глазах блеснули слезы.

– Зачем вы на меня смотрите? Не видели таких красавиц? – спросила она.

– Видел и получше. Могу не смотреть... – Я отвернулся, уставился в потолок, снова закрыл глаза.

– Вы здесь работаете? – спросила она.

– Да, – сказал я, не открывая глаз.

– Кем?

– По ночам убиваю тяжелых пациентов. Больнице нужны места для новых.

– А я приходила навестить бабушку, – как ни в чем не бывало сказала девушка. – Она приехала к нам погостить и попала в больницу... Я сдавала для нее кровь, а тут привезли этого мальчика. И оказалось, что моя кровь подходит. Как вас зовут?

– Рихард.

– А я Аида.

Гудрун вытащила из нас иголки, быстро смазала наши руки спиртом.

– У вас редкая группа, – сказала Гудрун, не обращаясь ни к кому конкретно. – Если вы подошли для этого ребенка, значит, сможете спасти и друг друга – если ситуация возникнет... Так что советую вам не теряться.

Я усмехнулся. Если старая Гудрун лезет не в свое дело и пытается свести меня с этой девушкой, значит, Гудрун сама хочет со мной переспать. Почему все страшилища мира лезут в мою жизнь? Почему даже кровавая вампирша Гудрун, которая весит как я умножить на четыре и от которой один за другим поуходили к другим теткам все ее обескровленные мужья, не может смириться с моим одиночеством и всегда подсовывает мне кого-то: то невзрачную санитарку из южного коридора, то похожую на мышь очкастую служащую из больничной конторы? Та мышь даже ни разу на меня не взглянула – потому что глаза у нее всегда в пол. Не лучше ли Гудрун заняться собственным одиночеством, а мое оставить в покое?

– Если ситуация возникнет, меня спасти не надо, – сказал я, слез с кушетки и ушел. В зеркало увидел, что Аида растерянно смотрит вслед. Закрывая за собой дверь, услышал тихий голос Гудрун:

– Не бери в голову. Он у нас псих.

* * *

Я вышел из больницы и пошел по улице. Мешковатая одежда болталась на мне, как на скелете, но мне нравилось: оставляло свободу движений, даже почему-то захотелось подпрыгнуть. И я подпрыгнул. На ветке дерева сидела птица с ярко-красной головой. Испугавшись прыжка, птица улетела, но из-за того что я засмотрелся на нее, не заметил, как натолкнулся на крупного усатого полицейского. Тот бесцеремонно отбросил меня прочь. Я отлетел в сторону и тут понял, чем объяснялся его грубый толчок – четверо хмурых крепких рабочих в напряжении несли длинную чугунную трубу: если бы они ее выронили, она раздавила бы им ноги. Вообще-то, она могла ударить и меня, но позже я объясню вам, почему их ноги имели для человечества гораздо большее значение, чем мои.

Спустя минут двадцать я поздоровался со злой кривозубой консьержкой, которая сидела у нас на первом этаже, и поднялся на четвертый этаж, где арендовал комнату после смерти мамы. Комната была маленькой – почти всю продольную стену занимала кровать, в углу стоял шкаф, у окна стол и еще оставалась узкая полоса свободного пола. Для стула места не было, поэтому не было и стула.

– Привет, мам... – бросил я, аккуратно вешая мешковатый пиджак на спинку кровати. Никто не ответил.

Этот пиджак никогда мне не нравился, но только сегодня я почему-то впервые осмелился подумать об этом.

– Знаешь, я, конечно, понимаю, что это твой подарок... Но он мне велик... И еще – ты сказала, что он почти неношенный, а на самом деле это просто лохмотья...

Я бросил взгляд на стоявшую на столе черно-белую фотографию нервной, худой, красивой женщины – это была моя мама.

– Пока ты была жива, я стеснялся сказать тебе об этом... Но как только у меня появятся деньги, я его выброшу. Ты же не против?

Портрет молчал. Я не понимаю небесного отца нашего. Как может он создавать таких красивых женщин, как моя мама, и одновременно с этим – таких, как консьержка внизу? Они несоизмеримы, они просто с разных планет. Я считаю, что ему надо воздерживаться от крайностей – либо от чего-то одного, либо от чего-то другого. Ну, или развести их по разным планетам – зачем это неравенство? Зачем такое опасное взаимораздражающее соседство?

А вот еще один вопрос к небесному отцу нашему: как можно создать такую красоту и вместе с этим не предусмотреть для нее денег? Вообще-то, чемодан денег должен полагаться

не только красоте. Кривоzubой консьержке тоже. Красоте нужен чемодан денег, чтобы выжить и остаться красотой. А консьержке он нужен в компенсацию того, чем она оказалась обделена. Тогда консьержка не будет такой злой, и всем окружающим тоже будет легче. Например, евреям. Консьержка круглосуточно бредит идеями фюрера и следит за тем, чтобы на ее территории евреи и немцы не имели никаких телесных контактов. Хотя никто ей за это не доплачивает. Не случайно же?

Я попытался посмотреть на эту проблему глазами фюрера, и мне показалось, что, если у консьержки появится чемодан денег, ее больше не будет интересовать никакой фюрер. Она просто уедет в тихий замок, выправит себе зубы, станет уважаемой дамой и начнет мучиться смыслом жизни.

Она больше не будет утруждать себя злым и суетливым отловом евреев по подворотням. Никакие идеи фюрера больше не будут казаться ей волшебными. Может, поэтому и устроено так, чтобы ни у какой консьержки не оказался чемодан денег? Ведь если у каждой консьержки такой чемодан окажется, кто же будет слушать фюрера, следовать его великим идеям и строить великую Германию?

Так и не разрешив этой проблемы, я повалился в одежде на кровать. Мама всегда запрещала мне падать на кровать в одежде. Но теперь мамы не было. Ее смерть принесла горе, одиночество, но одновременно – свободу. Да, и еще чувство вины – за ту радость, которую я испытываю от этой свободы. Ну и еще одно, отдельное, дополнительное чувство вины – за то, что я убил ее.

Вспомнилась та девушка, которую я встретил сегодня на сдаче крови. Зачем я ушел? Надо было познакомиться. Нет, правильно ушел: полюбит, а потом не отвяжется.

– Сегодня познакомился с одной девчонкой... – сказал я маме. – Но это не то, что мне надо.

Я посмотрел на часы. До встречи еще целый час, а жил он минутах в десяти от меня. Так что можно пока почитать – про одного парня, который мне интересен. «Страдания юного Вертера» Гете. Эта книга мысленно всегда со мной – даже когда я в морге или в рыбном цеху. Сейчас я взял ее с прикроватной тумбочки и открыл на закладке.

* * *

Солнце уже клонилось к закату, когда я шел в своем мешковатом пиджаке по улице. Позади послышался резкий гудок машины. Я отпрыгнул, хотя шел по тротуару. Представляю, как смешно и нелепо это выглядело! Те, кто находился рядом, сохраняли важность и продолжали свое степенное движение. Как им удастся не реагировать на резкие звуки? Какого черта я такой нервный?

Мимо проехала дорогая открытая машина – это она издала гудок. В ней сидели смеющиеся парни и девушки моего возраста. Одна из девушек – светловолосая – помахала мне. Какого черта? Разумеется, я не ответил. Зачем? Она же видела, как по-дурацки я отпрыгнул. И видела пиджак мой дурацкий. Разве не ясно ей про меня все?

Интересно, каково это – сидеть в сверкающей машине и непринужденно болтать с этой девушкой? Машина свернула за угол и исчезла навсегда. Вот и хорошо, пусть проваливаются. Там совсем другая жизнь; она не моя, и она не нужна мне.

Я вошел в дом, поднялся по сумрачной лестнице на последний этаж, остановился около двери. Постучать не решился – страшно как-то. Оглянувшись, посмотрел вверх, увидел лестницу на чердак и открытый черный люк. Зачем этот люк всегда открыт? Он же засасывает людей – лучше не смотреть туда.

Дверь неожиданно распахнулась. На пороге стояла женщина. Она смотрела на меня без улыбки.

– Вы к доктору Циммерманну? Входите.

Я вошел.

– Иоахим, к тебе! – крикнула женщина и исчезла.

Появился мужчина лет примерно пятидесяти, с мокрыми руками и полотенцем – это был доктор Иоахим Циммерманн: человек, который пару недель назад случайно полез не в свое дело, тем самым вторгся в мою жизнь, а потом непонятно как подцепил меня на крючок.

«Почему мои ноги меня не слушаются? – подумал я. – И почему они дрожат?»

– Рихард? Отлично, – сказал доктор Циммерманн. – Вы приняли правильное решение прийти сюда. Пойдемте, кабинет вон там.

Кресло в его кабинете было очень неудобным: как только я осознал, что сжался, то сразу же развалился – пусть этот шарлатан не чувствует себя великим учителем, без которого молодежь не понимает, как ему жить.

Доктор Циммерманн

Не знаю, что расскажет вам об этой встрече Рихард, если расскажет вообще. Я сидел напротив, на коленях лежала старая потрепанная тетрадь. В нее я записываю обычно какую-нибудь мысль, пришедшую в связи с рассказом пациента, или какую-то его случайную фразу. Вообще-то, у пациентов не бывает случайных фраз. Тетрадь для того и нужна: памяти доверять нельзя – она не бесстрастна. Даже если ничего не забудется, то исказится обязательно.

В тот день я, конечно, еще не мог знать, что эта бесценная старая тетрадь скоро будет валяться на гранитной мостовой возле моего дома, ветер будет перелистывать ее наполненные чужими тайнами страницы, а потом чья-то рука поднимет ее, полистает, поднесет к ней дорожку зажигалку, зажжет, отбросит, и тетрадь будет догорать на мокрых камнях.

Объективная ценность принадлежащей мне вещи определяется не тем, какой субъективной ценностью наделяю ее я, а тем, что способна сделать с этой вещью зажигалка постороннего. В последнее время вокруг меня стало много людей с зажигалками, и мои реалии таковы, что я не способен защитить свои ценности.

Иногда кажется, что я просто не умею этого делать. Эта мысль рождает чувство отчаяния и беспомощности. К моим ценностям относится не только тетрадь, но также мои жена и дочь. Эта проблема настолько невыносима, что хочется убежать от нее. И я убегаю – в этот кабинет. Здесь толстые стены, отделяющие от улиц, где ходят люди с зажигалками, а еще здесь есть кресло – этот парень пока считает его неудобным – все время ерзает, но кресло не виновато – мало кто чувствует себя уютно во время первой встречи.

Мы сидим и молчим. Я не смотрю на него. Я знаю, что на первой встрече не следует слишком явно рассматривать пациента. В будущем еще успею на него наглядеться. А пока займусь тетрадью, полистаю, поищу в ней свободную страницу. Обнаружу, что в ручке засохло перо, смочу его чернилами, хотя, конечно, несколько оно не засохло и ни в каких чернилах не нуждается.

Возможно, пауза нужна не только пациенту, но и мне. Возможно, я боюсь его не меньше, чем он меня. И пока вожусь с моими ручкой, тетрадью, чернилами, я просто хочу убедить себя, что все тут вокруг мое, а значит – я в безопасности.

Я замечаю, что парень украдкой наблюдает за мной. Пусть. Ему надо привыкнуть к моему облику, заметить, как я смешон и неловок, обнаружить мои слабые стороны, найти основания для благотворного высокомерия – пусть сложит впечатление, что я не опасен.

В какой-то момент я прихожу к выводу, что больше не кажусь ему опасным – потому что теперь он позволил себе переключиться с меня на окружающее пространство. Его взгляд скользит по стене, по окнам, остановился на портрете строгого бородача. Это, вообще-то, Вильгельм

Вундт¹, но парень, разумеется, его не знает. Ему и не надо его знать. Портрет давно уже не должен здесь висеть. Почему у меня никак не доходят руки снять его? Неужели потому, что мне до сих пор страшно?

Я повесил этот портрет еще в самом начале карьеры. Я уже тогда интуитивно понял, что все эти бородатые морды, дипломы, сертификаты, свидетельства подавляют пациента. Портреты сверлят его цепкими научными взглядами отовсюду, куда бы он ни посмотрел. Пышные бороды авторитетов не оставляют никаких сомнений в их мудрости и научности и заставляют беднягу вжаться в кресло и ощутить себя маленькой подопытной мышкой. Пациент думал, что пришел на доверительную встречу со мной, а на деле оказался перед лицом строгой комиссии.

В начале карьеры меня это полностью устраивало: чувствовал себя легко и уверенно – на сцене солировал только я, а пациент служил лишь поводом для потока моих мудрых мыслей. Разумеется, ни о каком собственном творчестве пациента речи в этой ситуации идти не могло. К счастью для моих пациентов, после первых же успехов я очень быстро почувствовал себя увереннее. Каждый новый успех приводил к исчезновению какой-нибудь пары портретов. Но Вундт почему-то устоял.

* * *

Я продолжал листать тетрадь, но скоро она закончилась. Я бросил взгляд на Рихарда. Впервые заметил его запястья, когда-то изрезанные в попытке самоубийства. Перехватив мой взгляд, он натянул рукава почти до пальцев.

– Я пришел только потому, что вы мне предложили... – сказал он. – Ну и еще потому, что платить не надо. На самом деле все это глупо. Мне нечего рассказывать. У меня все хорошо.

На мгновение вспомнилась лестница на мой чердак, по которой я недавно с таким трудом стаскивал этого парня вниз.

– Ну что ж, тогда расскажите, как все хорошо.

Рихард кивнул – его это устраивало: хорошее легко рассказывается, воодушевляет окружающих, вызывает их одобрение и не причиняет никому неудобств. Ведь это так важно – уметь быть для всех удобным.

– Мне нравится жизнь, – сказал Рихард. – У меня хорошее настроение...

Рихард в тревоге посмотрел на мою тетрадь – он заметил, что я что-то быстро пишу в ней.

– Мы что, уже начали работать?

– Если вы не против, – сказал я.

Рихард молчал. Видно было, что ему хотелось что-то сказать, но он колебался.

– Там была женщина, – наконец сказал он. – Это ваша жена?

– Да.

– Она была не слишком приветлива... – сказал Рихард. – Она, наверное, подслушивает?

– С чего вы взяли? Там ничего не слышно.

– Слышно. Я даже слышу, как соседи разговаривают.

– Она уехала, – сказал я, бросив взгляд на часы. – В доме никого.

– Если никого, тогда зачем вы сказали, что там не слышно?

– Вы мне не верите? Пойдемте.

Мы вышли в прихожую. Здесь было темно. Я с грохотом обо что-то споткнулся.

– Черт, кто здесь это оставил? – воскликнул я.

Мы вошли в гостиную. Я провел Рихарда через неубранное пространство – одежда валялась на диванах и в кресле, на полу лежали газеты.

– Видите? Никого.

¹ Вильгельм Вундт (Wilhelm Maximilian Wundt) – немецкий психолог, физиолог.

Рихард с интересом рассматривал чужой беспорядок. Я украдкой поглядывал на него. Должно быть, в душе его возникло сейчас приятное тепло морального превосходства – над всеми, кто плодит такой хаос. Впрочем, это всего лишь мои догадки – в душу ведь не заглянешь. Беспорядок может многое рассказать о своем владельце, а идеальный порядок не расскажет ничего – он только скрывает: голые поверхности надежно прячут хозяина. Порядок ориентирован на зрителя: наводя порядок, я прежде всего думаю: как это выглядит? И только во вторую очередь я думаю о том, насколько это удобно.

Я ввел Рихарда в спальню.

– И здесь никого, видите? Все уехали.

Рихард остановился на пороге спальни. Кровать не застелена, одежда разбросана по полу.

– Ну и бардак тут у вас... – пробормотал он.

– Вас смущает мой беспорядок? – спросил я.

– Мне кажется, он должен смущать вас, а не меня.

– Меня он не смущает. Я неидеален. Видите эти шкафы? В них все забито как попало. В кухне гора немытой посуды... В возрасте тринадцати лет я хотел покончить с собой, потому что не нашел в себе сил отказаться от мастурбации.

Рихард выглядел растерянным. Он, вероятно, приучен к сокрытию, к миру обезличенных манекенов, но сейчас на него полился неожиданный поток непрошеной правды: сначала обо мне рассказали мои вещи, теперь я стал рассказывать о себе сам.

Возможно, я ошибался, но в тот момент мне показалось, что растерянность Рихарда связана еще и со страхом: если кто-то будет с ним откровенен, это обяжет его быть откровенным в ответ. Наверное, он пока не мог разрешить себе свободу от этого непосильного обязательства.

Теперь, когда прошли годы и мое тело уже много лет лежит в земле, я понимаю, что его растерянность и была моей неосознанной целью. Ради чего я манипулировал этим парнем? Зачем торопил события вместо того, чтобы спокойно дожидаться, когда с течением времени у него естественным образом возникнет ко мне доверие? На эти вопросы у меня нет ответа даже сейчас. Разумеется, Рихарду такая ситуация понравиться не могла.

– Зачем вы рассказываете мне все это? – спросил он.

– Мы не обязаны соответствовать ничьим ожиданиям, – продолжил я нападение, не ответив на его вопрос. – Никто не вправе указывать нам, какими мы должны быть.

Я не понимал, куда меня несло. Я ничего не знал об этом парне – например, не знал, нужна ли ему проповедь. Почему я напролом полез вперед, даже не собрав о нем достаточно информации? Что сидело во мне, заставляя использовать пациентов для решения собственных проблем? Я не мог ответить себе на этот вопрос. Какая-то горячая волна в тот момент поднялась во мне и с упрямым бешенством управляла мной помимо воли. Теперь-то мне легко анализировать самого себя. Смерть очень облегчает самоанализ. Выдержав некоторую паузу, я вышел из спальни, пригласив Рихарда следовать за мной.

За месяц до начала работы с Рихардом я получил письмо из Лондона, в котором родители одного парня сообщали мне о том, что их сын, с которым я работал около двух лет, выпрыгнул в окно четвертого этажа и погиб. Они обвиняли в этом меня. Шокированный смертью парня – я прекрасно его помнил, – я с готовностью принял их обвинение. Я почувствовал, что ощущение вины мне нравится: я как будто ждал подобного повода – он давал возможность атаковать самого себя, унижить, высмеять, растоптать.

Несколько дней я ходил подавленный, на некоторое время отложил практику. Когда недавний случай принес мне Рихарда, я с радостью ухватился за этого несчастного парня и под влиянием чувства вины навязал ему бесплатную терапию. Таким образом за счет Рихарда я частично искупил вину.

Когда я осознал это, меня заинтересовало: почему я с такой готовностью взял на себя вину за этот случай в Лондоне? Почему я не сказал себе, что из двух лет работы этот парень

занимался со мной от силы раз десять, а в последний год, после переезда в Лондон, он не занимался со мной вообще ни разу? Почему я не сказал себе, что его несчастные родители, переживая утрату единственного сына, имеют полное право использовать любую возможность для того, чтобы снять вину с самих себя и перевалить ее на кого-то другого?

Я не случайно заговорил о вине его родителей. Я убежден, что в реальности самоубийство человека начинается за много лет до того, как он купил веревку или ступил на подоконник. Если бы родители парня признали это, они тем самым признали бы и то, что кое-что, должно быть, зависело и от них. Они бы поняли, что не передали сыну самого главного навыка жизни, который требуется детенышу единственного на земле разумного вида для того, чтобы этот детеныш выжил, – интереса к самому себе. Или, иными словами, привычки к ежедневному самоанализу. Впрочем, родители не могут передать ребенку то, чего не получили сами.

Мысли об этом могли бы помочь мне освободиться от чувства вины за гибель парня в Лондоне, но освобождаться я, как видно, не хотел. В те годы я еще не знал: чтобы незаметно от себя не переносить на пациента свои проблемы, психоаналитик сам должен пройти терапию у какого-нибудь коллеги. Сейчас-то, наверное, те психоаналитики, которые еще не лежат в земле, а продолжают работать с пациентами над ее поверхностью, уже знают об этом, и такая практика стала общим стандартом.

При жизни я несколько раз встречался с моим другом-психоаналитиком Манфредом Бурбахом – я мог ему довериться, мы обсуждали мои проблемы. Но встречи эти не были регулярными. На одной из них он почти насильно влил в меня огромный бокал красного вина – точно такой же, как однажды влил прямо на улице, когда мы стояли под дождем: вы скоро узнаете об этом – я познакомлю вас с Манфредом. Он ни дня не обходился без красного. И втайне любил насилие.

Постояв немного в растерянности от моего беспорядка и моих откровений о своей юности, Рихард вышел из спальни. Мы прошли обратно в кабинет, а спальня опустела. Впрочем, не совсем: под кроватью, затаив дыхание, оставалась лежать женщина – та самая, что незадолго до этого открыла Рихарду дверь, – моя жена Рахель. Убедившись, что все стихло, она вылезла из-под кровати, отряхнула пыль, в недоумении оглядела окружающее пространство. Бесшумно подошла к шкафу, открыла его. На полках был идеальный порядок.

– Ну и что здесь забито как попало? Покажите мне! – тихо сказала она в возмущении, но этой фразой ее возмущение не закончилось.

* * *

– Мое белье было разбросано на всеобщее обозрение... – сказала Рахель, когда вечером мы с ней лежали в постели.

Я в этот момент был увлечен чтением книги, поэтому поток ее претензий не вызвал во мне ничего, кроме досады.

– Прости, – сказал я. – Это часть моей терапии.

– А Фрейд это одобрил?

Я понял, что книгу придется отложить. Господи, отец наш небесный, я очень люблю свою жену, но откуда берутся в ее голове подобные вопросы? Почему каждое свое ковыряние в носу я должен сверять с Фрейдом?

– Я с ним не советовался. Почему я должен получать на все одобрение Фрейда?

– Думаю, что Фрейд упал бы в обморок, – сказала Рахель.

– В обморок? Что ж, пусть понюхает нашатыря. Фрейда это не касается. Он никогда не считал меня хорошим учеником. Ему будет трудно смириться с тем, что его ученик превзошел учителя.

– Может, тебе надо было актером стать, а не психоаналитиком? – искренне предположила Рахель. – Выступал бы сейчас в каком-нибудь кабаре или водевиле...

Я представил себя в котелке, с тростью, в полосатых штанах, делающим веселое па на сцене кабаре.

– Я не комедиант, – сказал я. – Ты меня унижаешь. Моя миссия – помогать людям.

– Я все же надеюсь, что ты увлечешься каким-нибудь другим методом, и этот кошмар закончится... – сказала Рахель.

Рихард

Склонившись к газовой горелке, ненасытная до чужой крови Гудрун кипятила шприцы в стальной кастрюле. Однажды я видел Гудрун во время ее гипертонического криза. Она лежала на кушетке, вокруг сновали доктора, а черные пиявки сидели у нее на руках и на шее – они сосали из нее кровь. Гудрун в этот момент тихо и сладострастно стонала, ее лицо было красным.

Интересно, в чем логика Гудрун? Какой ей смысл пить кровь из пациентов, если потом эта кровь все равно достанется пиявкам?

Шприцы продолжали звонко танцевать в кипятке. Комната переливания крови наполнялась паром – мне трудно было дышать.

– Я уже сказала тебе – ничего не скажу, – буркнула кровопийца, не отрываясь от наблюдения за кипятком.

– Но почему? – воскликнул я с досадой. – Я влюблен как кролик! Мне нужен только адрес! Учти, ты разрушаешь будущую семью!

– И слава богу, – сказала Гудрун. – Тебе нельзя ни на ком жениться. Ты сделаешь несчастной любую. Ты злой. Вот почему ты не получишь ее адрес.

– Я все равно узнаю, – с усмешкой сказал я и вышел.

Эта девчонка непонятным образом засела у меня в голове, волновала, раздражала, мучила, и я совершенно не понимал, какого черта.

Позже, размышляя с этим так называемым доктором, я кое-что для себя понял. А точнее, понял вовсе не я – это была версия Циммерманна; ему удалось навязать мне ее, потому что ничего лучше мне в голову в тот момент не пришло.

Как я понял позже, в его личной ситуации, о которой я тогда ничего еще не знал, доктор Циммерманн был категорически не заинтересован в том, чтобы я принял простую, естественную и самую напрашивающуюся версию – о том, что эта девушка была просто чудо и ее острая грудь просто вонзилась в мое сердце.

Вместо этого он предложил заумную и вымученную версию, связанную с тем, что девушка в тот момент спасала ребенка. Поскольку в те же минуты я тоже спасал этого ребенка, то какой-то образ мальчика в моей голове все же имелся.

По мысли доктора, где-то в темных и таинственных глубинах моей души образ мальчика-жертвы, нуждавшегося в помощи, слился с образом меня самого – тоже жертвы, нуждавшейся в помощи.

То есть получилось так, что я и есть этот ребенок, которого надо спасать. И значит, эта девушка спасает сейчас меня – примерно так, как спасает своего ребенка обычно мама.

И все это как раз в тот момент, когда сам я недавно остался без мамы и теперь чувствую себя одиноким и попавшим под телегу.

Дополнительным удобством от слияния образов себя и мальчика стало то, что моя кровь в тот момент перетекала в мальчика, и если этими трубками мы с ним слиты в одно целое, значит, кровь моя, в общем-то, никуда от меня не утекает, и жалко мне ее быть уже не должно.

Для доктора Циммерманна это была очень удобная версия, потому что острая грудь девушки и ее милое лицо оказывались в этой картине чем-то лишним и совсем незначимым. Что, в свою очередь, и к радости доктора, вело к возможности замены Аиды на любую другую женщину, лишь бы она спасала малыша. Например, если доводить до абсурда – на клыкастую Гудрун. Получалось, что, если Гудрун будет спасать на моих глазах какого-нибудь мальчика, с которым я себя отождествляю, я точно так же сойду от нее с ума.

Неужели доктор всерьез верил в это? Неужели он мог надеяться, что его дурацкие умственные конструкции окажутся способны отвлечь меня от Аиды?

А может, он вовсе не ставил такой задачи? Может, ему просто нравилось, когда его голодный, азартный и не слишком ответственный ум получает хоть какую-нибудь пищу?

Наверное, от этого умственного голода он готов грызть даже камни. Если сказать ему, что на Землю вчера упал какой-нибудь метеорит из космоса, доктор, должно быть, в ту же секунду выстроит целую теорию о том, что дело вовсе не в гравитации, которая притянула камень к Земле, а в том, что бедняга летел один в холодном космосе, никому не нужный, никем не согретый, а тут бац! – и перед ним теплая ласковая планета, кругленькая такая, с волнующими острыми горными вершинами, на которые так и хочется запрыгнуть одним прыжком!

Быстренько сообразив, что планета может заменить ему маму, космический булыжник устремится к ней, а физики, астрономы и прочие дураки, которые знают слово «гравитация», пусть отдохнут за чашкой кофе.

Правда, когда булыжник рухнет на землю, он расплющит этого психоаналитика и оставит от него мокрое место, и тогда больше некому будет рассказывать людям сказки про космическое стремление к материнскому теплу и любви.

Астрономы и физики к тому времени допьют свой кофе, возьмут швабру, вытрут оставшееся от этого психоаналитика мокрое место, и больше ничто не мешает им снова объяснять события мира абсолютно научной и всеми признанной теорией гравитации, а вовсе не глупыми выдумками о тоске по всяким нежностям.

* * *

Итак, Гудрун не собиралась давать мне жизненно важный адрес девушки, а я, разумеется, не собирался оставлять свою судьбу в руках этой кровавой вампирши – я решил написать на нее фюреру.

Если она любительница противоестественного телесного сладострастия с участием черных пиявок, то это явное извращение, а также недопустимое кровосмешение между арийской плотью и паразитами немецкой нации.

Фюрер наверняка этого не одобрит – гестапо ее арестует и увезет в подвал, пиявок отправят в концлагерь, и тогда я беспрепятственно заберусь в ее кровавую картотеку и разыщу там адрес моей несравненной Аиды – чистой и невинной немецкой девушки, у которой коварная национал-предательница Гудрун высасывает арийскую кровь для насыщения черных неарийских друзей.

Вместе с тем я понимал, что пока фюрер спланирует боевую операцию, введет в наш госпиталь войска и устроит в нем ночь длинных скальпелей – арестует Гудрун, изловит расплзающихся пиявок, захватит всех прочих обитающих в больнице кровососов немецкой нации, – для всего этого может потребоваться время: враг ведь повсюду, и пока очередь дойдет до нашего госпиталя, ждать, возможно, придется долго.

Однако адрес Аиды нужен прямо сейчас – мое эмоционально-психиатрическое состояние требовало сжать в руке бумажку с этим адресом в ближайшее же мгновение, а в следующее мгновение уже быстро бежать по этому адресу.

Поэтому я решил действовать самостоятельно: пошел на второй этаж – в палаты, где, как я видел, лежат старухи – и не всякие старухи, а только те, кто объединен той опасной группой диагнозов, которая требует настоящей заботы со стороны острогрудых внучек.

Уже через минуту после быстрого взлета по лестнице я стоял около Эрики – молодой красивой медсестры с тонкой талией, пышной грудью и прямыми светлыми волосами. Она возилась с голым стариком, лежащим на кровати.

Любой, кто впервые взглянул бы на Эрику, мгновенно вспомнил бы мои рассуждения про чемодан денег. Он не смог бы понять, как такая девушка может работать обычной медсестрой. Ведь было абсолютно ясно, что ее истинное место – неустанно и за огромные деньги изображать истинную арийку в патриотических журналах и новостных роликах.

Может, она просто не знает своей истинной ценности? Неужели до сего дня не нашлось ни одного отличного арийского парня, который объяснил бы ей это? Неужели эта высокая миссия доверена небесами исключительно мне? Неужели только я способен вернуть Эрику ее единственной законной владелице – великой Германии?

Она достойна кисти лучших художников рейха. Где они, эти художники? Что они сейчас рисуют? Кувшин? Яблоко? Мертвую курицу?

– Ты смеешься? – с улыбкой сказала Эрика. – Тут очень много старух. И всех навещают внучки. И кстати, визиты внучек никак не связаны с диагнозами их бабушек.

Последняя фраза заставила меня предположить, что Эрика туповата, ведь про диагнозы я сказал просто в шутку. Но тупость не вязалась с такой красотой, поэтому я решил, что Эрика тоже шутит. Или же день был тяжелый и она просто устала мыслить.

– Лучше помоги мне, раз уж ты здесь, – сказала она.

Вместе мы помогли голому старику слезть с кровати и усесться на стоявший на полу горшок. Эрика справлялась с телом старика намного ловчее меня, и по выражению ее лица я даже увидел, что моя неловкость вызвала у неё досаду.

Но моей вины в этом не было – посмотрел бы я на Эрику, если бы она помогала мне в морге: вот бы где выяснилось, кто из нас ловчее. Эрика сразу бы поняла, что трупы – это весьма холодные, жесткие и высокомерные пациенты. В трупах больше характера и упрямства – они себе на уме и с ними невозможно договориться.

Этот старик трупом пока еще не был, его кожа была теплой и сухой, а тело податливым. Я смотрел на него, и в голову вдруг пришла дурацкая мысль: а что, если он и есть мой дедушка? Может, спросить его? Я не знал никого из своих бабушек и дедушек: мама жила совершенно одна и своих родителей никогда не упоминала – как будто их не было.

А ведь дедушки и бабушки – они же где-то есть, и притом прямо сейчас. Если не умерли. Дедушка, к примеру, может сидеть где-нибудь за столом и есть рыбу – ту самую, которую разделявал его внук. Как же я не догадался нацарапать ножом на боку какой-нибудь рыбины: «Привет, дедушка! Это твой внук! Как дела?» Вот бы он удивился!

Старик продолжал сидеть на горшке, а из горшка вырвались в мир еще одни свидетельства того, что он не труп – громкие звуки освобождения кишечника. Мне стало неприятно, я отвернулся. Разумеется, это не мой дедушка: мой не издает таких звуков.

– Извините... – пробормотал старик, пряча глаза.

– Не извиняйся, мое счастье, – сказала Эрика. – Мы ведь с тобой ждали этого целых три дня, эти звуки для меня – просто концерт Моцарта!

Мы помогли старику встать с горшка, Эрика промыла ему зад, мы положили его обратно в кровать. Старик с подозрением покосился на меня. Нет, это не мой дедушка – мой разве стал бы смотреть на внука с таким неодобрением?

– Этого парня я раньше не видел... – с неудовольствием проскрипел старик.

Эрика молчала – она была занята вправлением наволочки.

– Я работаю в здешнем морге, – представился я.

– А что вы делаете в моей палате?
– Пришел познакомиться заранее.
– Не бойся его, Мартин, – сказала Эрика, укоризненно посмотрев на меня. – Ты про-
срался, значит, в морг тебе еще рано.
Старик благодарно сжал руку медсестры.
– Она сдавала кровь для своей бабушки, – сказал я Эрике. – У нее редкая группа. Как
у меня.
– В мою смену таких вещей не было, – сказала Эрика. – Приходи в другую смену.
– Давай посмотрим картотеку крови? – предложил я.
– Если ты не уйдешь прямо сейчас, я прогоню тебя шваброй, – предупредила Эрика.
– Если ты выйдешь за богача, тебе не придется работать, – сказал я. – И тогда ты не
будешь так злиться.

С этими словами я ушел. Старик недоброжелательно посмотрел мне вслед. А вообще-то,
он выглядел несчастным. Он не хотел, чтобы Эрика вышла за богача – остаться без нее стало
бы для старика катастрофой.

Разумеется, дед и сам понимал, что Эрике здесь не место. Здесь должны работать такие,
как Гудрун. Или доктор Лошадь. Или моя консьержка. Но если Эрика отсюда уйдет, здесь не
останется очарования. Это место опустеет. И тогда этот старик не найдет в себе сил исторгнуть
из своего организма все то, что скопилось в нем за три дня и чего мир, черт возьми, давно
заслуживает.

Старик из-за этого умрет, и никто даже не заметит этого. Мне стало жалко старика. Про-
сто до слез. Но что поделаешь, так ему и надо. Подыхай, старик. Такие, как Эрика, – не для тебя.

Доктор Циммерманн

Он сидел напротив меня в кресле для пациентов, и это кресло больше не казалось ему
неудобным. Минуту назад я объяснил его жалость к встреченному в палате старику. Я предпо-
ложил, что Рихард увидел в нем самого себя. Еще живой и теплый, но уже высохший и легкий
– то есть зависший где-то между жизнью и смертью. Уязвимый и беспомощный, как ребенок.
Нуждающийся в тепле и защите. Потерянный, злобный, одинокий. Вот какие прилагательные
назвал мне Рихард, когда я попросил его описать старика.

Очень важно, что старик был пациентом, то есть зависимым от чьей-то заботы. Я бы
сказал, от материнской заботы. Назвав заботу материнской, я замолчал. Тишина длилась и
длилась, в глазах Рихарда появились слезы, но всего на мгновение – он справился с собой и
попросил продолжать. Мне в этот момент следовало бы задержать его на этой эмоции, но я не
мог – по какой-то причине и самому захотелось убежать из этого мгновения как можно скорее.

Совсем недавно я уже говорил Рихарду о его потребности в материнском тепле – кажется,
в связи с его рассказом о какой-то встреченной в больнице девушке: она спасала ребенка, и,
по моей версии, в этом ребенке Рихард тоже увидел самого себя.

Жаль, что Рихард высмеял в тот день мою версию, рассказав в ответ какую-то дурацкую
историю про выдуманный им космический булжчик. Впрочем, несколько не жаль – не имеет
значения, какие колкости говорит Рихард, потому что имеет значение лишь то, что он чув-
ствует.

А от чувств космического булжчика ему никуда не деться – он сам космический булж-
чик, и мы оба это знаем. Он может сколько угодно пытаться защититься от этих чувств – напри-
мер, через насмешки надо мной. Но эта боль ему необходима, и я знаю заранее, что приведу
его к ней, несмотря на все его попытки убежать от нее или сделать вид, что этой боли нет.

Местом работы Рихард почему-то избрал больницу – учреждение, где кто-то постоянно
о ком-то заботится. Это место, где по коридорам блуждает горе, и вместе с ним – материнское

тепло. Не случайно именно здесь работают люди, внутренне готовые это тепло давать. Но разве для всех это тепло? Нет, только для пациентов. А Рихард – не пациент. Зачем он пришел сюда работать? Разве способен он давать?

В тот день, когда Рихард сдавал кровь, кто-то заботился о попавшем под телегу ребенке. А сегодня кто-то заботился о старике. На этот раз источником материнского тепла была некая медсестра по имени Эрика. На своем рабочем месте она приносила в атмосферу нашей планеты определенную часть тепла. Но хватит ли усилий Эрики, чтобы согреть материнским теплом всю планету, каждый ее холодный булыжник? Проблемы с теплом, казалось бы, нет – палящая жара и вызванные ею засухи делают непригодными для жизни огромные пространства земной суши. Но если бы климатологи могли измерить, как на этих пространствах обстоит дело с теплом материнским, мы бы оказались в лютном ледниковом периоде. Почему этого тепла так мало? Почему Рихарду приходится так отчаянно вымаливать свою долю?

Если я правильно понял ситуацию, упомянутая Рихардом медсестра Эрика ни словом не обмолвилась о том, что недовольна жизнью. Она не сказала, что хочет все изменить, бросить работу, удачно выйти замуж. Наоборот, в те минуты, когда он видел ее в больнице, она выглядела радостной. Она, без всякого сомнения, любила пациентов – увлеченно вытирала им попы и при этом напевала веселые песенки. Все говорило о том, что ее работа и жизнь вполне ей нравятся.

А если так, тогда почему же Рихарду так хочется считать Эрику несчастной? Почему он фантазирует о том, что она выйдет замуж и в любую минуту исчезнет?

Я, разумеется, Эрику никогда не видел, но в реальном мире миллионы божественных красавиц годами и десятилетиями моют в больницах унитазы, изнурительно трудятся на шумных фабриках и при этом считают свою жизнь вполне удавшейся.

Я решил, что фантазии Рихарда на тему непредсказуемого исчезновения Эрики могут быть связаны с недавним внезапным исчезновением его матери. Вместо того чтобы переживать собственное горе, Рихарду было легче пережить горе чье-нибудь чужое – например, возможные чувства старика, если у того вдруг не станет Эрики.

Рихард убежден, что в случае исчезновения Эрики старик будет горевать. Но этому нет абсолютно никаких подтверждений! Рихард почему-то не допускает мысли, что старику, возможно, наплевать на Эрику, и если, например, однажды утром вместо Эрики в палате появится Гудрун, старик точно так же полюбит Гудрун.

Если старик зависит от Эрики, он любит Эрику. Если старик зависит от Гудрун, он любит Гудрун. Я вполне готов предположить это. Даже когда Гудрун однажды во время ночного дежурства вопьется зубами старику в шею и начнет пить его кровь, старик будет заглядывать ей в глаза и спрашивать – вкусно?

В конце концов, многие мои сограждане до смерти любили Бисмарка и считали его гением, но когда появился Гитлер, они не менее страстно возлюбили Гитлера, и он тоже стал вдруг у них гением. Кто сегодня опасен, тот и гений. Кто сегодня впился мне в шею и пьет из нее кровь, тому и должно быть вкусно.

Я вполне допускаю легкую и быструю взаимозаменяемость Эрики и Гудрун в душе старика. Однако Рихарду почему-то важно оставаться убежденным, что Эрика является для старика уникальным источником света и даже смыслом его жизни. Откуда такая убежденность при полном отсутствии информации? Запишу-ка я в тетрадь, что отношение старика к своей медсестре Рихард окрашивает в цвета собственного отношения к покойной матери.

Следствием того, что Рихарду легче пережить горе и одиночество старика, чем горе и одиночество собственное, стало вот что. Когда Рихард мысленно говорит старику: «Такие, как Эрика, – не для тебя», этим Рихард говорит себе: «Рихард, твоя мама – не для тебя».

Вот как Рихард пытается узаконить свое горе. Он надеется, что от этого ему станет легче. Увы, горю плевать на законность самого себя.

Думаю, что недавняя драма исчезновения матери не ранила бы девятнадцатилетнего парня так сильно, если бы в его предыстории не имелись более ранние – мне пока неизвестные – эпизоды, когда мама бросает и уходит, оставив ребенка в полном отчаянии. Надо не забыть расспросить его об этом.

Когда Рихард говорит: «Так тебе и надо, подыхай, старик», эти слова Рихард говорит самому себе. И это печально: Рихарду рано умирать.

Запишу еще одно наблюдение: Рихарду нравится образ такой Эрики, которая всеми силами стремится упорхнуть из тоскливой больничной повседневности. То, что этот образ не имеет ничего общего с реальностью, Рихарда несколько не волнует. Эта фантазия говорит о том, что Рихард сам хочет упорхнуть. Но откуда, куда и почему?

Интересно, а как обстоит дело со мной? Почему мне так близко это желание Рихарда? Не вижу ли я в Рихарде самого себя?

Никаких конкретных путей упорхнуть Рихард в своей жизни пока не увидел. Все его мысли крутились вокруг только одного способа упорхнуть – на тот свет вслед за матерью. Мы с ним еще не добрались до этого, но, видимо, это и есть тот единственный рецепт благотворных изменений жизни, который передала сыну любящая мама – она направила Рихарда решать проблемы ко мне на чердак.

Сама она повесилась в своей комнате, в то время как Рихард выбрал чужое пространство. О чем это говорит? О том, что ни одну комнату на этой планете он не считает своей. Впрочем, как я понял из его слов, он и всю планету не считает своей. Откуда возьмется на этой планете своя комната, если вся планета чужая?

Жаль, что маме Рихарда не случилось обратиться ко мне. Как много таких отчаявшихся людей ходит по свету. Иметь бы волшебную палочку, чтобы заранее оказываться на местах предстоящих самоубийств. Иметь возможность завязать разговор. Поговорить. Уйти. А дальше пусть делает что хочет.

Его матери уже не поможешь – она уже там. Она теперь ходит к другому психоаналитику. Интересно, что он там с ней делает? Я бы на месте ее нового психоаналитика не тратил бы слов – просто обнял бы ее.

Если бы я умел заглядывать в будущее, меня бы удивило, как странно там все переплетется: я спас Рихарда, а он попытается спасти мою дочь. И еще многих людей. Он и меня спасти попытается – просто не получится.

* * *

Портрет своей матери он принес сегодня с собой – я держал его в руках, и выбора у меня, в общем-то, не было: Рихард смотрел на меня, и под его взглядом я должен был рассматривать этот заурядный портрет с надлежащим вниманием и интересом.

Я даже задал пару уточняющих вопросов, высказался о красоте этой женщины, а потом снова молча глядел на портрет. Через некоторое время решил, что достаточно, и отложил портрет в сторону. В конце концов, я собираюсь работать не с портретом, а с тем образом матери, который живет в душе Рихарда. Это два совершенно разных образа: на портрете мама вполне милая, но вовсе не портрет управляет сейчас жизнью Рихарда втайне от него самого.

Рихарду страшно прикасаться к тому образу матери, что живет у него в душе. Поэтому, наверное, он и принес с собой портрет – в надежде, что я увлекусь им и отстану от того, к чему лучше не прикасаться. Увы, этот трюк не сработает.

– Вы остановились на том, что ничего к ней не испытываете, – напомнил я.

– Совсем ничего, – сказал Рихард. – Как будто ее и не было. Мне кажется... Она как будто и сейчас жива. И может в любую минуту закатить мне скандал.

– Часто ссорились? – спросил я.

– Она всегда находила какую-нибудь ерунду. Она всегда меня бесила.

– Чем?

– Не знаю. Лживостью. Тупоумием. Неумением устроить свою жизнь... Я всегда хотел от нее уехать. Просто денег не было. Когда она умерла, это решило все проблемы. Я снял маленькую комнатку и теперь сам себе хозяин.

Его потребность в матери, а также горе от ее утраты никак не вязались со свободой критических высказываний о ней. Я предположил, что он просто обесценивает утрату – чтобы легче было пережить. Позже выяснилось, что у него есть еще один мотив для обесценивания матери – он пытался освободиться от чувства вины за ее гибель.

– Вы сказали, что она покончила с собой после какого-то разговора с вами, – сказал я.

– Да, был разговор, – нехотя вспомнил Рихард. – Но это не связано. И я не раскаиваюсь. Я сказал то, что ей давно пора было услышать.

Я молча записывал его фразы в тетрадь. А когда записал все, что хотел, просто сидел и продолжал молчать. Рихард не понимал моего молчания: попытки интерпретировать тишину заставили его вспомнить свои последние фразы, что заметно разволновало его.

– Чувство вины? – спросил он. – Если вы об этом, то нет, никакого.

Я продолжал молчать.

– Почему вы молчите? – нервно спросил Рихард. – Я же сказал вам – никакой вины!

Я почувствовал, что наступает очень важный момент – пациент взволнован, защищается от каких-то одному ему ведомых обвинений. Очевидно, сейчас пойдут те чувства, что он давно от себя прятал, и я узнаю о невидимой смертельной схватке, которую ведут между собой части его личности... Но моя дочь все испортила.

* * *

Сначала послышался шум. Потом дверь с треском распахнулась, и в кабинет влетела взволнованная Аида. Я тогда еще не знал, что моя дочь была той самой девушкой, которую мимоходом упомянул Рихард, путано рассказывая об эпизоде сдачи крови в больнице.

– Пап, что делать, если камин дымит в дом? – в волнении спросила Аида.

– Я работаю, а ты мне мешаешь, – сказал я.

Аида закашлялась. Позади нее были видны клубы белого дыма. Рихард в потрясении смотрел на Аиду.

– Это ваша дочь? – тихо спросил он.

Аида бросила взгляд на Рихарда.

– Здравствуйте, – сказала она, сразу забыв про дым.

Позже Рахель рассказала, что в кухне Аида обмолвилась: парень, который сидит сейчас у папы на приеме, кажется ей знакомым. Она захотела посмотреть на него и для этого решила осторожно приоткрыть дверь кабинета, чтобы заглянуть в щель. Рахель попросила ее не делать этого и напомнила, что во время сессии с пациентом заглядывать в кабинет нельзя. Аида вынуждена была согласиться, но расстроилась. Рахель предложила Аиде дождаться конца сессии и посмотреть на парня, когда он выйдет. Аида сказала, что это невозможно, потому что конец сессии она не застанет – в три у нее урок музыки, и надо успеть дойти до дома учительницы.

Рахель не понимала нетерпения дочери – этот пациент, скорее всего, пришел сегодня не в последний раз, – Аида наверняка увидит его снова. Или, например, Аида может спросить отца о нем позже – когда вернется после урока.

Однако никакие аргументы Рахели Аиду почему-то не устроили. Она чуть не плакала от досады. К счастью, уже через несколько минут ужасный едкий дым внезапно заполнил весь

дом, и Аиде ничего не оставалось, как с воплями ворваться в отцовский кабинет, где она и увидела интересующего ее пациента.

Впоследствии, когда выяснилось, что проблема оказалась в упавшей заслонке каминной трубы, я задался вопросом: почему эта заслонка никогда не падала раньше?

– Привет... – тихо ответил Рихард, увидев Аиду.

Они молча смотрели друг на друга.

– Залей камин водой, – сказал я, нарушив тишину.

Мне не терпелось продолжить сессию: она оборвалась на очень живом моменте, угасшую эмоцию пациента еще можно было восстановить, и я хотел, чтобы Аида убралась отсюда как можно скорее.

– Но если залить водой, камин погаснет! – в недоумении воскликнула дочь.

Я проклял все на свете. Неужели вместо пациента придется заниматься проклятым камином? Зачем вообще его сегодня разожгли – если на улице холодно, а с камином проблема, значит, надо сидеть в холоде!

– Это что-то с трубой, – тихо и уверенно сказал Рихард. – Наверное, заслонка упала. У меня так бывало. Я помогу.

Он быстро поднялся с кресла, и, прежде чем я успел что-либо сообразить, они с Аидой вышли из кабинета.

Я остался один. Некоторое время сидел в кресле и поглядывал на часы. Рихард не возвращался. Я взял в руки портрет его матери и стал рассматривать. Увидел сбоку царапину. Рассмотрел раму. Потом обратную сторону. Поставил на место. Какое глупое положение... Как так получилось, что пациент прервал сессию и вышел из кабинета без моего разрешения? Что он там сейчас делает? Мне выйти или ждать здесь? Если я выйду, будет ли это выглядеть так, будто я за ним гоняюсь?

Я представил, как вхожу в гостиную, а Рихард, завидев меня, бросается дальше, в коридор, в кухню, запирается в ванной, но не тут-то было – я бегу за ним, сдерживая обоснованное негодование, стучу в дверь ванной и строго говорю – тихо, но убедительно: «Рихард, это единственная дверь, все пути отрезаны, у вас нет выхода, вам придется продолжить терапию».

* * *

Никакого дыма в гостиной уже не было. Окно открыто. Рихард и Аида сидели на ковре перед камином. Аида со смехом показывала Рихарду жилку на своем запястье. Он молчал. Она вопросительно посмотрела на него.

– Поверхностная ветвь лучевого нерва, – без запинки выпалил Рихард.

– Откуда ты все знаешь? – удивилась Аида. – Учишься на доктора?

Рихард рассмеялся. Я впервые видел его смеющимся, впервые видел его улыбку. Они прекрасно проводили тут время без меня. Я со своей дурацкой терапией был ему совсем не нужен.

Все перевернулось в моей голове. Зачем я трачу усилия? Может, и всех остальных своих пациентов следует просто сажать на ковре перед камином и устраивать им общение с Аидой? Если она так целебна, я договорюсь с ней, и она каждый раз будет вбегать сюда с криком о пожаре.

Часть денег за терапию пойдет ей, часть в семью. В кабинете я сделаю оранжерею, а бородатых Вундтов и все дипломы сожгу зимой в камине вместе с рамочками – в доме хотя бы ненадолго станет теплее.

Господи, неужели раздражение, которое я так безуспешно прячу от самого себя, – результат моей ревности к Аиде? Или это досада от утраты власти над пациентом?

– Нет, учиться на доктора – это слишком дорого, – ответил Рихард.

– Тогда откуда ты все знаешь? – спросила Аида.

Рихард печально улыбнулся.

– Когда лучшие профессора Берлина каждый день повторяют тебе одно и то же... а лучшие трупы Берлина безмолвно тянут к тебе сухожилия... в надежде, что ты наконец запомнишь их названия... чтобы их отпустили в мир вечного покоя...

С этими словами Рихард в мольбе протянул сухожилия к Аиде, словно он и есть тот труп, который хочет, чтобы его отпустили в мир вечного покоя. Аида рассмеялась, остановила руки Рихарда, положила ладонь ему на грудь. Рихард нежно положил свою ладонь поверх ладони Аиды.

– Грудинно-реберная часть большой грудной мышцы... – печально сказал он, прижимая руку Аиды к своей груди.

На мой отцовский взгляд, это уже переходило все границы.

– А я, между прочим, сижу там и жду! – сказал я.

– Простите... – сказал Рихард.

– Продолжим? – сказал я.

Рихард бросил взгляд на часы.

– Время кончилось, – сказал он. – Мне надо идти.

Рихард поднялся с пола и направился к выходу. Я смотрел ему вслед в полной растерянности.

Спустя минуту я стоял в кухне со стаканом воды. За окном подпрыгивающей походкой уходил Рихард. Я перевел взгляд на эркер своего дома. В окне Аиды шевельнулась штора.

Я бесшумно вошел в комнату дочери. Она стояла у окна и смотрела вниз, прячась от Рихарда за шторой. Никакой спешки на урок музыки не было и в помине. Я подошел и задернул штору прямо перед ее носом. Аида обернулась.

– Я же просил не попадаться на глаза пациентам, когда они приходят в дом, – сухо сказал я.

– Папа, но наш дом горел! Это был пожар! – воскликнула Аида. Глаза ее были полны ужаса.

Я понимал, что чем ужаснее мог быть возможный пожар, тем оправданнее становилось вторжение Аиды в мой кабинет во время работы с интересующим ее пациентом.

– Пожар? – иронично спросил я. – Во время которого ничего не сгорело? Откуда ты его знаешь?

– Мы вместе сдавали кровь, когда к нам приезжала бабушка, – сказала Аида.

Мама Рахели – Леа – действительно приезжала к нам погостить на некоторое время. У нас она попала в больницу, потому что ее лимфоузлы увеличились и болели. К сожалению, выяснилось, что у нее рак крови и помочь ей уже нельзя. Рахели предложили сдать для нее кровь. О том, что после Рахели Аида вопреки правилам – слишком молода для донорства – тоже сдала кровь, она никому из нас не рассказала.

Кровь родственниц на какое-то время взбодрила Лею – она повеселела, и у нее даже возникли силы поехать умирать к себе домой в Мюльхайм.

Ее не стало через полгода. Рахель и Аида были рядом с ней до последней минуты. Они похоронили ее, а через пару лет возблагодарили бога, что Леа умерла естественной смертью – вместо того, чтобы принудительно отправиться на тот свет в рамках каких-нибудь научно-образовательных государственных программ по улучшению населения Германии.

Аида молча смотрела на меня, машинально потирая руку, из которой недавно брали кровь. Я молча смотрел на дочь.

– Если ты видишь дым, но не видишь огня, – веско сказал я, – надо всего лишь открыть окно. Дым вылетит. Ты могла справиться с этим сама. Если ты не была уверена в своих силах, попросила бы маму.

Я говорил бесспорные вещи. Аида не могла ничего возразить, опустила глаза и помрачнела. Я молчал. Она бросила на меня короткий взгляд, и в ее глазах я увидел тоску.

Я почувствовал, что мое детское существо помрачнело вместе с Аидой. Я подошел и обнял ее. Что это был за дурацкий жест – задернуть штору перед ее носом? Сколько неуважения было в нем, сколько презренной пустой уверенности в своей презренной пустой правоте, сколько упоения своей властью... Откуда это во мне? Кто научил меня этому? Чей подлый голос внутри меня и сейчас убеждал, что задернуть перед ее носом штору было правильно?

Аида

Да, если уж уделять зачем-то внимание таким мелочам... Мне, наверное, действительно стало немного неприятно, когда папа задернул штору перед моим носом. Но вообще-то, я в тот момент не заметила неприятного чувства. А потом быстро забыла. Это же родители, что с них возьмешь?

Возможно, у папы было просто плохое настроение. Например, из-за этого дурацкого дыма, который помешал его работе. Папа же не хотел меня обидеть? Дернул же черт играть с этой заслонкой! Зачем я вообще прикоснулась к ней? Я ведь никогда раньше не делала этого и ничего в камине не понимаю. Когда я была маленькой, мама однажды неловко шевельнула заслонку, и всю комнату заволочло дымом – все забегали, вот смеху-то было!

Днем я сходила на урок музыки. Несмотря на то что опоздала, учительница приняла меня – я объяснила, что в доме чуть было не случился пожар, и это очень ее впечатлило. А вечером мы с мамой раскраивали ткань на кухонном столе.

– Подай сюда ножницы, – попросила мама.

– Мам, я могу до брака начать отношения с мужчиной? – спросила я, выполняя просьбу.

Рано или поздно пришлось бы задать подобный вопрос, а сегодня была самая подходящая минута: этот парень почему-то оставил такое радостное чувство! У него была такая хорошая улыбка... И он так мужественно и бесстрашно вернул на место страшную, черную от сажи каминную заслонку!.. И мы с ним весело смеялись, старыми газетами прогоняя дым через окно гостиной... И он много интересного рассказал про человеческие сухожилия... Как тускло я жила! Как вообще люди могут влачить годы, ничего не зная про свои сухожилия?

Одним словом, после всех этих головокружительных переживаний вокруг пожара и сухожилий откладывать вопрос о возможности добрых отношений с мужчиной было нельзя ни на минуту.

Я смотрела на маму, ожидая ответа, но она продолжала шить, как будто никакого вопроса не прозвучало вовсе. Наконец она бросила на меня взгляд и тихо сказала:

– И вон те нитки.

Я подала ей нитки.

– Что значит начать отношения? – наконец спросила мама.

– Ничего, – сказала я.

– Совсем ничего?

«Господи, какая же она нудная!»

– Ну, гуляния... поцелуи... – сказала я.

– И все? – удивилась мама.

– Разумеется, все! – возмутилась я. – Как ты могла подумать?

– Не надо так картинно удивляться, – сказала мама. – Ты уже не в молочном возрасте.

Она продолжила шить. Молчание тянулось и тянулось – это, наверное, было маминской тактикой – ждать, что вопрос сам собой как-нибудь снимется. Например, я скажу: «Ну ладно, мамуля, я пошла спать». А мама, уткнувшись в нитки, скажет: «Да-да, спокойной ночи,

доченька». Я поцелую ее и уйду в спальню, а утром проснусь, и никакого дурацкого вопроса у меня в голове уже не будет.

Я смотрела на маму. Она подняла на меня удивленный взгляд – оказывается, я еще здесь и почему-то продолжаю ждать ее ответа.

– Если не узнает бабушка, то можно... – сказала мама, уткнувшись в шитье.

От этого коротенького «можно» у меня просто захватило дух и заколотилось сердце. И стало страшно.

– А лучше, если и папа не узнает, – добавила мама.

– Почему? – спросила я.

– Ну хотя бы потому, что это его пациент.

«Откуда она все знает?»

– Мам, но я же не сказала, о ком идет речь.

– Он тебе нравится?

Я почувствовала теплоту и доброжелательный интерес, подошла и обняла маму. Она улыбнулась.

– Ни у кого нет такой прекрасной мамочки, как у меня... – сказала я.

– Просто твоя мамочка прекрасно помнит, как в твоём возрасте сама убежала от родителей с одним мальчиком... – чуть помолчав, она поспешила добавить: – Не советую брать с меня пример.

– Это, конечно же, был наш папа? – спросила я.

– Нет, – сказала мама, продолжив шитье. – Это было за три мальчика до нашего папы.

Ответ мне понравился. Он лишний раз доказывал, что родители, как ни странно, тоже люди. И еще он доказывал, что даже взрослые иногда говорят правду.

* * *

В окно светила луна. В ночной рубашке я осторожно вышла из своей комнаты. Дверь в этот раз даже не скрипнула – с ее стороны очень мило. В коридоре темно. Проходя мимо приоткрытой двери в спальню родителей, я старалась быть максимально бесшумной, и у меня это получилось.

Большинство карточек в картотеке пациентов были старыми, пожелтевшими, а новых – белых, жестких, с еще не истрепанными углами – оказалось очень мало. Я с самого начала смотрела только на новые, поэтому разыскать карточку Рихарда оказалось совсем не сложно. Быстро переписала его адрес, а прочесть еще что-нибудь просто не успела – карточка вдруг выскочила из рук и улетела высоко в воздух: я даже не успела понять, почему мои руки дернулись как от электрического тока. А причиной оказался всего лишь нежный, тихий, любящий материнский голос – вот какой волшебной силой он обладает, когда его совсем не ждешь.

– Ты же не пойдешь туда? – тихо спросила мама.

Она стояла в ночной рубашке в дверях папиного кабинета.

– Куда? – спросила я.

Карточка, описав в воздухе плавную дугу, ударилась о шкаф и подло приземлилась прямо в руки того, кого считала здесь главным. Мама бросила взгляд на адрес, показала карточку мне, и это стало ответом на мой вопрос «куда». Я отрицательно покачала головой – нет, разумеется, я туда не пойду, как можно было предположить такое?

– Тогда зачем? – спросила мама.

Я молчала – просто не придумала, что ответить. Мама подошла к картотеке и вставила карточку на место.

– Иди спать... – сказала она, погасила в кабинете свет и вышла.

Я осталась стоять в темноте. Мама не выгнала меня из кабинета, а оставила в одиночестве в полной свободе. Но обманывать ее доверие нельзя. Я вышла из кабинета вслед за ней.

Мамы в коридоре уже не было – наверное, она уже спала. Я вернулась в свою комнату, забралась в кровать, укрылась одеялом и стала смотреть в потолок. Я пыталась понять, что со мной происходит: никогда раньше не вставала среди ночи, не пробиралась в скучнейшее место в доме – папин кабинет – и не рылась в его скучнейших бумагах.

Эта попытка понять себя так и не привела ни к чему конкретному. Если не считать того, что у себя под одеялом я вдруг обнаружила Рихарда – он лежал рядом и смотрел на меня. Его тело было горячим. Я провела рукой по его волосам, а потом погладила плечо. Потом я решительно отодвинула своего старого медведя, с которым обычно обнималась во сне, и крепко обняла Рихарда. Только после этого я смогла уснуть. Медведь остался лежать в стороне – теперь не я, а он мучился бессонницей и размышлял о своей судьбе.

Доктор Циммерманн

Если бы в тот хмурый день в мой кабинет случайно заглянул кто-нибудь посторонний, он решил бы, что этот уверенный в себе господин и есть истинный хозяин кабинета. А напротив хозяина сжалось какое-то недоразумение – загнанное жизнью существо: это, должно быть, пациент, который пришел сюда, чтобы понять наконец, как ему жить, а все полученные указания старательно записать в свою убогую тетрадочку. Нового хозяина кабинета звали Ульрих, ему было не более пятидесяти. Взглянув на тетрадь, Ульрих недовольно поморщился:

– Уберите это, я не пациент.

Я сразу же послушно убрал тетрадь. Конечно, он не пациент. Особенно учитывая, что вся наша планета – это планета пациентов, и нет ни одного, кто не нуждался бы в психологической помощи.

– Я пришел к вам, потому что с моим сыном что-то не так... – сказал Ульрих и замолчал.

Пауза длилась, а я не мог догадаться – что же не так с его сыном? Хотя, судя по недовольному выражению его лица, я давно уже должен был догадаться. Чтобы воодушевить его продолжить рассказ, я осторожно спросил:

– Что же с ним не так?

Ульрих высокомерно усмехнулся. Весь его вид показывал, что мой вопрос бестактен и я спросил о чем-то недопустимом. Может, мне это всего лишь показалось, а на самом деле в его голове просто-напросто пронеслось пренеприятнейшее воспоминание сегодняшнего утра, когда он в раздражении выдернул из рук своего растерянного двадцатилетнего сына какую-то ужасную, неподобающую открытку.

– Не знаю, – сказал Ульрих. – Не знаю, что с ним не так. И не хочу знать. Вы лучше сами с этим разберитесь.

Я кивнул.

– За счет чего вы меняете людей? – вдруг подозрительно спросил Ульрих. Его взгляд сверлил меня, его голос был сух и отрывист, и мне показалось, что в глаза светит лампа, а я сижу на допросе в гестапо.

– Я? Меняю? Я бы не сказал, что я кого-то меняю... – пробормотал я. – Человек меняется сам, если...

– Не надо уходить от конкретного ответа, – перебил Ульрих. – Я знаю, что вы меняете людей. Как? Каким образом? За счет чего? Вы гипнотизируете?

– Я беседую... – подумав, сказал я.

– Что значит беседуете?

– Задаю вопросы.

– Слабовато, – сказал он.

Привычная в таких случаях волна бешенства сразу же перехватила мне горло и затруднила дыхание. И сразу же включилась столь же привычная и годами натренированная техника избавления от острой эмоции – она снабдила мое бешенство двумя крылышками и позволила ему свободно и легко выпорхнуть через окно – даже несмотря на то, что окно было закрыто.

– Да, вопросы – это слабовато... – согласился я. – Особенно если не принимать во внимание, что это те вопросы, которые люди никогда не задают себе сами.

Ульрих молчал. Разговаривать с ним больше неинтересно – я ждал его сына. Сын появился минут через десять – он ждал в машине, а потом по сигналу отца, поданному через окно моего кабинета, поднялся в дом. Теперь в кресле для пациентов сидел Тео, а Ульрих ждал внизу у машины.

* * *

– У вас были когда-нибудь интимные отношения с мужчинами? – спросил я.

– Нет, – ответил Тео.

– Тогда почему ваш отец решил, что вас интересуют мужчины?

– Потому что это действительно так. Все мои фантазии крутятся вокруг этого... – сказал Тео, глядя в окно.

– Отец в курсе ваших фантазий?

– Нет, разумеется. Но, наверное, он что-то заметил, если привез меня сюда. Он сказал, что не потерпит.

Тео вдруг повернулся ко мне: его взволнованный взгляд был полон надежды.

– Вы мне можете помочь? – спросил он.

Я не знал, смогу ли ему помочь. Природа его влечения была мне неизвестна. А еще я не знал, какую именно помощь он имеет в виду. Не всегда пациент действительно хочет то, что декларирует.

– Вы хотите избавиться от этого? – спросил я.

– Конечно! – с жаром воскликнул Тео.

– Почему?

– Что за вопрос? Если об этом станет известно, будет вред отцовской карьере. Удар по его репутации. По всей семье. Неужели это не понятно?

Я кивнул. На самом деле мне ничего понятно не было. Ясно, что столь похвальная сыновья забота о карьере отца и о нуждах семьи должна вызывать одно лишь восхищение. Впрочем, как раз этого восхищения я в себе совершенно не находил.

– Вы мне можете помочь? – спросил Тео.

– Вы хотите избавиться от этого? – спросил я снова.

– Вы ведь уже спрашивали об этом! – сказал Тео.

– Да.

– Вы разве не получили ответ?

– Получил.

Тео молчал. Я тоже молчал.

– Почему вы молчите? – спросил Тео.

– Я хочу знать, хотите ли вы избавиться от этого, – тихо сказал я.

Тео покраснел. Его руки задрожали от волнения. Когда он почувствовал на глазах слезы, то быстро встал и покинул кабинет.

Первое, что пришло мне в голову, – это интерес к мужчинам как подсознательная попытка Тео привлечь к себе внимание отца. Эту версию косвенно подтверждал факт странной неосторожности Тео, позволившей отцу обнаружить неподобающую открытку. Если бы Тео не

хотел, чтобы отец что-то увидел, отец никогда бы ничего не увидел: никакая случайность не помешала бы Тео скрыть то, что он действительно хочет скрыть.

Я встал с кресла и выглянул в окно. Около машины мрачный Ульрих ожидал сына. Тео вышел из дома, нерешительно подошел к отцу. Ульрих спросил его о чем-то. Тео, пряча глаза, ответил. Ульрих посадил его в машину, в раздражении захлопнул за ним дверцу, сел за руль, и они уехали.

Рихард

То, что у мужчин-покойников член стоит торчком – это неправда, ничего у нас после смерти не торчит, можете мне поверить, потому что говорю я вам это не только как будущий покойник и не только как существо уже посмертное, но и как вполне живой девятнадцатилетний работник морга.

Философия этой легенды заключается, наверное, в драматической мужской мечте о том, чтобы даже умирающий мужской организм в последние секунды своей бесполезной жизни сохранил трогательную возможность еще раз бессмысленно продолжить род – например, при подходящем случае конвульсивно впрыснуть зазевавшейся самке последнюю порцию драгоценного генетического мусора.

Трудно, конечно, представить себе подобный уникальный случай. Тут ходишь живой, невообразимо красивый, до боли в животе готовый к любой счастливой случайности, но при этом почему-то абсолютно никому не нужный.

А вот якобы стоит тебе умереть, как со всех сторон, отталкивая друг друга, к тебе устремятся подразумеваемые природой самки: непонятно с чего охваченные безумной страстью к чему-нибудь полумертвому, они разорвут тебя на части, а победительнице достанется награда – девять месяцев изнурительной беременности, мучительные роды, а также почетное звание гордой продолжательницы человеческого рода на Земле.

Продолжательница будет объявлена почетной, потому что легенда, видимо, имеет в виду ситуацию, когда этот полупокойник остался последним мужчиной на планете, и впрыснуть жизнь в самку стало на нашей Земле больше некому.

Хорошо, допустим, что на планете почему-то остались одни самки, и поэтому деревенеющий прямо на глазах любовник резко взлетел в цене. Но тогда снова возникает вопрос: где были эти самки раньше?

Мой очередной мертвенно-синий любимец лежал голый на обшарпанной каталке в пустом зале морга. Я стоял рядом с усопшим и большой деревянной линейкой измерял его детородный орган. Следуя полученному от природы дару доброты и щедрости, я пытался улучшить его убогие показатели, но сантиметров получалось позорно мало.

– Не слишком... – пробормотал я. – Как ты жил с этой проблемой?

– Что ты делаешь? – вдруг послышался в гулком зале чей-то строгий мужской голос. Я бросил быстрый взгляд на покойника – его губы не шевелились. Я оглянулся.

Гюнтер. Он появился так неожиданно, что мне впору было выронить линейку и подпрыгнуть – подобно Аиде, среди ночи пойманной матерью за поисками моего адреса. А я ведь думал, что здесь совсем один. Откуда он взялся?

– Не видишь, что я делаю? – огрызнулся я. – Член ему измеряю.

– Зачем? – строго спросил Гюнтер.

– Исследую расовую статистику.

Линейкой, оскверненной прикосновением к мертвому синему члену, я с усмешкой указал на портрет фюрера, висевший на стене в неуместно пышной раме прямо над трупами.

Торжественность смерти, которой были исполнены холодные лица лежащих в ряд покойников, прекрасно рифмовалась с нордической торжественностью фюрера, устремившего психиатрический взгляд в далекое будущее великой Германии.

– Во-первых, я запрещаю тебе насмехаться над нашим фюрером, – сказал Гюнтер. – Хочу заметить, что ты позволяешь себе это не в первый раз.

– Прости, Гюнтер, – сказал я, изобразив искреннее раскаяние. – Я забыл о твоих святых чувствах.

– Предупреждаю – я напишу на тебя руководству больницы.

– Клянусь, больше не буду. Я ведь и сам понимаю, что фюрер велик... Хотя не настолько, чтобы не нуждаться в твоей защите.

– Запомни, негодяй: когда я умру, не смей подходить ко мне с этой гадкой линейкой, ты понял?

Мне на мгновение представилось, что Гюнтер уже умер, лежит голышом на каталке и вдруг в раздражении соскакивает с нее, злобно ломает деревянную линейку об колено и бросает в меня обломки.

– Не волнуйся, Гюнтер, – сказал я. – О твоих сантиметрах никто не узнает. Я буду свято хранить эту тайну – я всегда на стороне тех, кому есть о чем волноваться.

Гюнтер, красный и трясущийся от гнева, бросил в меня перчаткой, но я успел увернуться.

– Гюнтер, я тебе сочувствую, но смерть делает тебя совершенно беззащитным, – сказал я с огромной болью и сочувствием. – Прими это. У тебя нет никаких гарантий, что ночью я не разрисую твой труп свастиками.

Мертвый Гюнтер, теперь разрисованный свастиками, спрыгнул со своей тележки и бросился за мной.

А в реальности – живой взбешенный Гюнтер бросился ко мне и попытался схватить за шиворот, но мне удалось вырваться: выбегая из морга, я захлопнул дверь прямо перед его носом.

* * *

Мужественные немецкие моряки смотрели из-под руки в морскую даль. Они были нарисованы на афише фильма «Эмден» – мы с Аидой только что вышли из кинотеатра после его просмотра. Моряки на афише были так необыкновенно красивы и мужественны, что нетрудно было представить, как сурово делятся они друг с другом красотой и мужественностью в их тесных каютах во время дальних морских переходов.

Был теплый летний вечер, я обнял Аиду и поцеловал ее... Мы шли мимо уличных кафе; за столиками при свечах сидели люди... Мне было спокойно и радостно – рядом с Аидой жизнь почему-то казалась прекрасной. Возникла мысль привести ее сейчас домой, осторожно положить на кровать, медленно расстегнуть на ее груди пуговицы, а потом нежно прикоснуться к ней губами...

– Ты с кем-нибудь спала когда-нибудь? – спросил я.

– Нет. А ты?

– Никогда.

Вот тут мне следовало бы замолчать... Но понял я это слишком поздно.

– Я хочу спросить... Женщины, они ведь, наверное, обсуждают такие вещи...

Все спуталось в моей голове. Зачем я сказал это? Почему мои страхи управляют мной помимо воли? Как теперь остановиться?

– О чем ты? – спросила Аида.

– Нет, забудь... – сказал я.

– Но ты ведь хотел что-то спросить, – сказала Аида.

– Да, но... Я больше не хочу об этом спрашивать.

– Не бойся. Спроси. Я уверена, что, если что-то хочется узнать, надо спрашивать обязательно.

Я колебался. И победила смелость, а не разум...

– Мужской член... – сказал я. – Он какой длины должен быть?

Аида молчала. Похоже, она была потрясена. Мной овладела досада. Господи, зачем? Как я мог произнести это грубое слово? Я все испортил! Как я теперь докажу ей, что намерения мои были искренние и светлые?

Она бросила на меня взгляд, и мне сразу же стало ясно, что наши отношения закончены. Я увидел, что, хотя она еще продолжает идти со мной по улице, ее здесь уже нет, мы расстались, она ушла – обратно в свой мир, в прекрасную и умную семью, где ни у кого не вылетают из уст необдуманные слова.

Мне стало очень горько. В глазах зашипало от горячих слез.

Но – удивительное дело – Аиду, оказывается, несколько не смутил мой вопрос: она вдруг ответила. Да так легко и спокойно, как будто ее спросили, который час.

– Не знаю. Честное слово. Тебе, наверное, лучше спросить об этом своего папу?

Я не мог верить своим ушам – я не отвергнут! У меня сразу же отлегло от сердца. Катастрофа отменялась. Разумеется, о таких вещах надо спрашивать папу, а не девушку, которую провожаешь домой романтической лунной ночью. Или, например, друзей можно спросить. Господи, почему у меня нет папы? Почему у меня нет друзей?

Мы подошли к ее дому. Аида поцеловала меня и скрылась в подъезде. А я пошел домой. Я шел и представлял, как она появляется у себя дома. На пороге ее встречают улыбающиеся папа и мама. В ее спальне ждет хрустящая постель со свежим бельем. Она уютно сжимается под одеялом, сдерживая восторг от окружающей свежести, чистоты, волшебных ароматов. Разве уличному псу место на этих простынях? Нет, его место в одинокой вонючей конуре – на грубой лежанке, которую никто не менял ему уже давно. И не поменяет, потому что тот, кто менял, лежит теперь в земле. Сам он тоже себе не поменяет – псы не спят на простынях.

В этот момент, ощутив себя уличным псом, я вдруг засомневался в том, что не отвергнут: я вдруг понял, что Аида отреагировала на мой неподобающий вопрос именно так, как нужно реагировать воспитанной культурной девочке: она сделала вид, что ничего не произошло.

Сама она, разумеется, мгновенно приняла решение порвать со мной, но мне предстоит узнать об этом только завтра, потому что разрыв должен произойти красиво. Завтра она начнет избегать меня, выдумает благовидные предлоги, и я никогда не узнаю правды.

И это правильно – зачем уличному псу слышать правду, если он, честно говоря, и сам ее знает? Аида абсолютно права – именно так и надо рвать отношения с уличными псами.

Я решил помочь Аиде. Ей не придется выдумывать благовидные предлоги. Я сам больше никогда у нее не появлюсь – сам прекращу отношения. Зачем я вообще их затеял? Девушка из хорошей семьи. У нее есть папа и мама. Такой девушке полагается не плохой, а хороший мальчик. У которого тоже есть папа и мама. И который тоже спит на свежих простынях. И которого не волнуют идиотские вопросы про член. И которому не хочется никого убивать.

Я шел по безлюдной ночной улице. Все уже спали, и мне казалось, что я единственный, кто живет в этом городе. От всех мыслей на душе сначала было горько, но потом пришла странная свобода – мне даже легче стало от решения разорвать с Аидой. Стало предельно ясно, что Аида мне не подходит: эта девочка из другого мира. Мне нечего там делать, я там чужой, инородный, этот союз искусственный, ничего хорошего из него не выйдет.

Да, я уличный пес, и что? Если меня тяготит мое одиночество, надо просто найти себе другую псину. Такую же, как я, – облезлую, злую, одинокую. С ней мне будет спокойно. Зачем я лезу в мир людей? Я так устал от них. И устал от несвойственной мне роли – роли человека.

С этими мыслями я вернулся к себе в комнату и уснул на удивление спокойно и быстро: это было косвенным доказательством того, что решение принято правильное.

Доктор Циммерманн

– Я никогда не буду членом образцовой немецкой семьи. Не хочу продолжать движение к могильному камню с милой для всех надписью.

Тео замолчал. Я тоже молчал, записывая его слова в тетрадь.

– А что взамен? – спросил я.

Тео рассеянно провел рукой по лбу. В недоумении посмотрел на меня.

– Хочу поехать в Гамбург... – сказал он.

– Почему в Гамбург?

– Пойду в порт. Там есть гостиницы для моряков. Я хочу попробовать это. Я хочу жить...

В глазах Тео появились слезы.

Мы помолчали.

– Что вы сейчас чувствуете? – спросил я.

– Злость. Восторг. Не понимаю – как я смог разрешить себе это?

Тео смотрел на меня, ожидая ответа. Он был удивлен, растерян, слезы блеснули в глазах. Я продолжал молчать – эмоция пациента для своего развития требует времени, и в эти моменты ничего говорить не надо.

– Запомните это чувство, – сказал я через некоторое время. – Оно ваше. Никто не вправе отнять его у вас.

Тео молчал, пытаясь примириться с новым для него удивительным фактом – он имеет право на жизнь.

После ухода Тео я взял лейку для полива цветов и выглянул из окна гостиной. Внизу увидел Ульриха – он, как обычно, ожидал сына, прогуливаясь около своей машины. Нетерпение, раздражение, досада – все это угадывалось в его резких движениях, переменах поз, поворотах головы.

Я понимал его чувства – тратить драгоценное время на ожидание своего гадкого утенка возле какого-то сомнительного заведения, которое исправно принимает деньги, но при этом не дает никаких гарантий того, что сыну будут должным образом вправлены мозги: об этом ли мечтал отец, когда размышлял о его будущем?

Услышав скрип двери, Ульрих оглянулся, увидел Тео и зло усмехнулся – при виде сына лицо отца всегда приобретало выражение недовольства и брезгливости. Ульрих, как и в прошлый раз, с насмешливой услужливостью открыл дверцу – чтобы, когда сын залезет в машину, преувеличенно громко захлопнуть ее, оскорбленно сесть за руль и уехать.

Однако в этот раз все пошло не так – Тео шел к отцу не обычной неслышной походкой, а решительным шагом, и смотрел он почему-то не в землю, а прямо на отца. Подойдя к машине, Тео не сел в нее, помедлил... Ульрих продолжал смотреть на сына в насмешливом недоумении, потом бросил взгляд на часы, взял Тео под локоть и подтолкнул к машине. Но Тео внезапно отпихнул руку отца и пошел прочь.

Ульрих растерянно смотрел вслед, а потом вдруг перевел злобный взгляд на мое окно. Я совсем не ожидал этого. Застигнутый врасплох, я быстро сделал шаг назад и попытался спрятаться за штору. Однако из-за спешки наступил на нее, штора и карниз с треском полетели вниз; я попытался выбраться, но запутался в складках материи и упал. Лейка, вырвавшаяся из рук, перекувырнулась в воздухе и залила меня водой.

Одного лишь взгляда Ульриха оказалось достаточно для того, чтобы обмотать мои ноги шторой, дать по башке карнизом, повалить меня на пол и сверху полить водичкой. Парализо-

ванный и растерянный, я лежал в луже на полу. С легкостью сделав свое дело, Ульрих сел в машину и решительно уехал – с улицы донеслись рев мотора и визг шин.

Услышав грохот карниза и мои проклятия, Аида вбежала в гостиную. «Папа, что случилось?!» Она оказалась расторопнее Рахели, которая, поглощенная спицами и шерстью, продолжала вязать в дальнем углу гостиной. Аида помогла мне выпутаться из шторы и подняться на ноги. На пол с меня стекала вода.

– Как это я так упал? – искренне удивился я. – Надо же... Никогда так не падал.

– Пап, можно тебе рискованный вопрос задать? – спросила Аида.

Я кивнул. Разумеется, риска лучше избегать, но если отец в трудную минуту застрял в шторе и не смог выпутаться без помощи ребенка, как теперь не выразить ему благодарность?

Вообще, очень важно, чтобы отец не боялся рискованных вопросов своего чада: надо не скрывать от него истину, а быть мудрым наставником, ведь бесценная отцовская мудрость потом на протяжении многих лет поможет ребенку принимать правильные решения и находить выход в трудных ситуациях в будущей самостоятельной жизни. За щедрые крупы мудрости благодарное дитя долгие годы будет хранить чувство признательности к отцу, уважения к нему, а светлую память о нем передаст своим детям, внукам и правнукам. Вот почему я был полностью готов к любому рискованному вопросу своего ребенка.

– Пап, а какой длины обычно бывает у мужчины член? – спросила Аида.

В гостиной повисла тишина. Рахель бросила внимательный взгляд на дочь и снова уткнулась в свое вязание.

– Член?... – растерянно переспросил я. Я не знал, как эта крупка бесценной отцовской мудрости поможет моему ребенку принимать в будущем правильные решения.

– Да, – сказала Аида. – Имеет ли это какое-то значение?

Рахель бросила на меня быстрый взгляд и снова уткнулась в вязание.

– Современная наука склоняется к утверждению, что размер не имеет никакого значения, – сказал я и бросил быстрый взгляд на Рахель.

Современная наука знает чем хороша? В ней всегда найдется любой ответ и даже целая куча взаимоисключающих ответов на любой случай.

Некоторое время Аида молчала... Видно было, что она что-то обдумывает, но боится спросить.

– А с какой стати тебя вдруг заинтересовало это? – спросил я.

– Ну... Это заинтересовало не меня.

– Да? А кого же?

Прежде чем ответить, Аида бросила быстрый взгляд на Рахель. Рахель молча вязала.

– Рихарда, – сказала Аида.

– Вот как? – сказал я. – Моего пациента? И каким же образом тебе стал известен круг вопросов, который волнует Рихарда?

– Мы... встречаемся, – сказала Аида.

Я был растерян. Бросил взгляд на Рахель. Она продолжала вязать.

– Странная ситуация... – пробормотал я. – Мой пациент... Моя дочь... А я ничего не знаю. Рахель, ты знала?

Рахель неопределенно пожала плечами.

Аида

– Так и сказал? – спросил Рихард, когда мы вечером гуляли по улице.

– Да, – ответила я. – Он сказал, что размер никакого значения не имеет.

Мне было странно, что Рихард с таким трудом сегодня дал уломать себя выйти погулять. Обычно он очень радовался, когда мы проводили время вместе. Но сегодня у меня впервые

возникло чувство, что я навязываюсь и что не очень-то и нужна ему. Что ж, проверю свое впечатление еще раз; а потом, может быть, еще раз. И если впечатление укрепитя, я с Рихардом расстанусь. Я не собираюсь тратить свои чувства на отношения, в которых кто-то нужен мне больше, чем я ему...

– Так отвечают все, у кого у самих... не особо гигантский... – пробормотал Рихард, глядя куда-то вдаль.

Больше мы об этом не разговаривали. После прогулки он проводил меня домой. А следующее утро оказалось просто ужасным. Мы с папой завтракали. Папа мрачно смотрел в газету. В тишине висело звенящее напряжение. Я старалась смотреть к себе в тарелку, чтобы не встречаться с ним взглядом. Настроение было хуже некуда. Ни один кусок не лез в горло. Мама стояла к нам спиной – она возилась у плиты. Но я была уверена, что она и спиной чувствует напряжение.

– Прости, папа... – наконец выдавила я из себя. – Я... Я не хотела...

Я замолчала. Почему извиняться всегда так трудно? Особенно если не знаешь за что.

– Нет, я ничего не понимаю! – взорвался папа, в возмущении отбросив вилку и отклеившись от газеты. – Гитлер хочет присоединить Австрию, эсэсовцы врываются в кабинет австрийского канцлера Дольфуса, требуют от него отставки, он отказывается, и тогда они его убивают! Но самой главной новостью в нашей семье становится размер моего члена! Почему всех так волнует мой член? Рахель, ты ничего не хочешь сказать?

– Это были не эсэсовцы, – спокойно сказала мама, продолжая возиться с посудой в раковине. – Пишут, что это были австрийские гвардейцы.

– Ты в своем уме?! – воскликнул папа, багровея.

На него было страшно смотреть. Его глаза горели, волосы торчали во все стороны. Отбросив салфетку, он в раздражении вскочил из-за стола.

– Гитлер финансирует Ринтелена, это же ясно! – воскликнул он, энергично жестикулируя. – Это были эсэсовцы, переодетые в австрийских гвардейцев! Никем другим они быть просто не могли!

Вытирая раковину, мама смиренно молчала. Это было очень мудро – ее молчание отрезвило папу, он немного успокоился, перевел дух.

– Нет, я понимаю, – сказал он тише. – Мы не можем повлиять на приближающийся аншлюс Австрии. Нас, как мыслящих людей, это бесит. Но давайте посмотрим правде в глаза! Давайте честно скажем себе, что ни на Австрию, ни на размер моего члена мы повлиять не можем! Зачем тогда обсуждать? Зачем без конца его мусолить?

В столовой стало удивительно тихо. Никто не издал ни звука. Казалось, ни я, ни мама не дышим.

– Да, у меня далеко не самый большой член, – вдруг сказал папа в полной тишине. – И что? Почему моя дочь так болезненно интересуется этим вопросом?

– Просто в твоей дочери просыпается женщина, – спокойно сказала мама. – Ее начинает волновать все, что связано с вопросами пола. Что в этом болезненного?

Папа повернулся и стал молча смотреть на меня. Он смотрел и смотрел не отрываясь – так удав смотрит на кролика. Через некоторое время его глаза покраснели, он начал растерянно моргать, но все равно не отводил взгляда. Признаться, это было тяжелым испытанием – мне стало неуютно. Чего он хочет во мне увидеть? Как во мне просыпается женщина?

– Да, папа, – не выдержала я. – Это вполне безобидный интерес! Просто я передала Рихарду твою фразу о том, что размер члена не имеет значения... Тогда Рихард и предположил, что твой член может оказаться... не особо гигантским.

Повисла ужасающая тишина. Все замерли. Даже мамины руки перестали водить тряпкой по дну раковины. Папино лицо стало красным, у него перехватило дыхание, руки задрожали.

– Опять этот Рихард! – взорвался он так, что в доме зазвенели стекла. – Везде этот Рихард! Какого черта ты обсуждаешь с ним мой член?

Папина энергия передалась и мне, я почувствовала, как голова стала горячее, а тело словно ударили электрическим током. Я поняла, что, если немедленно не выплесну энергию обратно в окружающий мир, она сожжет меня и оставит лишь угольки.

– Папа, я не обсуждала с ним твой член! – в возмущении закричала я.

Это прозвучало так громко, что мама поморщилась и приложила к ушам полотенце.

– Ты же сам сейчас сказал, что он у тебя не слишком! А Рихард об этом просто догадался! При чем здесь я? Я ни слова не сказала Рихарду о твоём члене! Ты... Рихард... Чего вы оба ко мне прицепились? Сами разбирайтесь с вашими членами!

Меня трясло от волнения, но эти восклицания мне понравились – даже несмотря на то, что они вылетели сами как-то неожиданно, – я ведь несколько их не планировала.

Так происходит всегда. Почему я никогда не знаю заранее, каким словам предстоит из меня вылететь? Откуда они берутся? Эта непредсказуемость ужасно неудобна: получается, что я несу ответственность за то, чем несколько не управляю.

Я заметила пока только вот что: любым моим словам предшествуют какие-то неясные ощущения, переживания, чувства, и они так же неопределенны, как облако или туман: можно не заметить даже то, что эти неясные ощущения вообще имеются.

Ясными они становятся только после того, как превращаются в слова – приобретают четкие границы, и тогда не заметить их никак невозможно. Жаль, что я не понимаю, как происходит превращение тумана в слова.

А если туман не превратится в слова, он, наверное, так и умрет никем не замеченным? Мне почему-то кажется, что именно так и умирает большинство переживаний на нашей планете. А люди даже не подозревают, что они что-то пережили... А если человек даже не подозревает, что он что-то пережил, что он знает о самом себе? Есть ли он? Каких действий от него ждать? Опасен ли он?

После моего взрыва папа выглядел перепуганным и подавленным. Он, наверное, не ожидал такого отпора, но мне было плевать – кровь стучала в голове, и я была сейчас в таком состоянии, что могла завалить быка голыми руками. Моя нога отбросила мешавший стул, я решительно вышла из кухни и хлопнула дверью.

Доктор Циммерманн

Когда Аида ушла, я устало сел на стул. Бросил взгляд на Рахель. Она стояла спиной ко мне и с преувеличенным усердием вытирала и без того сухую раковину. Я почувствовал опустошенность – силы оставили меня... Вообще, чертовщина какая-то – Австрия, выкрики из радиоприемника, разбитые стекла магазинов... Эти тайные встречи Рихарда и Аиды... Жизнь, летящая непонятно куда... И на фоне всего – моя тихая, планомерная и спокойная работа с каким-то пациентом, который почему-то имеет мнение о моем члене.

* * *

Рихард сидел в кресле, я – напротив. Свой постыдный член я упрятал под старую тетрадь, лежавшую на коленях. Я был разбит, голова совершенно пуста, мысли разбегались в разные стороны. Мы молчали, и молчание это длилось уже достаточно долго.

Рихард в очередной раз бросил на меня вопросительный взгляд: может быть, он сказал что-то такое, что требовало ответа? Я понял, что надо все же найти в себе силы сосредоточиться.

– Извините... – вымолвил я. – Голова немного кружится... Итак, вы сказали, что хотели ее смерти...

– Да, хотел... – устало ответил Рихард. – Но когда ее не стало... Мне так не хватает ее теперь...

Рихард замолк. Я терпеливо ждал, когда он заговорит снова.

– Все ее последние дни – от того нашего разговора и до самой ее смерти – она была со мной так ласкова... Обнимала... Просила за что-то прощения... Столько ласки я не видел от нее за целую жизнь...

Рихард заплакал... Я молчал. Он вытер слезы, продолжил:

– Эти последние дни мы совсем не ругались. Она купила мне в подарок этот пиджак... Я думал, что теперь так хорошо будет у нас всегда... Но оказалось, что это были просто ее последние дни... Она уже все решила... Нет, тот разговор... Я убил ее?

– О чем был разговор? – спросил я.

– Я устал... Я больше не могу... В следующий раз...

Рихард поднялся и вышел...

Я поднялся вслед за ним, но из кабинета выходить не стал: подошел к столу и записал в тетради, что Рихард движется в сторону признания чувства вины за смерть матери. Раньше он боялся приближаться к этой теме, считал ее опасной, а чувство вины просто отрицал. Изменение меня воодушевило, потому что без освобождения от чувства вины мы с ним не смогли бы двинуться дальше.

Дверь кабинета после ухода Рихарда осталась открытой. Через нее я увидел зеркало – в нем отражалась кухня и видна была Аида, помогавшая матери месить тесто. Дочь с интересом бросила взгляд в коридор и увидела Рихарда, проходившего мимо. Взмолванный Рихард даже не повернул голову в ее сторону. После того как дверь за ним закрылась, донесся тихий диалог между Аидой и Рахелью.

– Мам, я обязана выйти замуж за еврея? – спросила Аида.

– Ты же знаешь – если твой муж окажется немцем, бабушка будет против, – ответила Рахель.

– А ты?

– Мне все равно.

– А ты сможешь поговорить с бабушкой?

– Зачем?

– Чтобы ей тоже стало все равно.

– Портить отношения со свекровью? Нет, в мои планы это не входит, – ответила Рахель, немного помолчала и добавила: – А что, уже назревает?

– Нет, – ответила Аида, – просто спросила.

* * *

– Я пригласил вас, чтобы получить отчет о происходящем с моим сыном, – сказал Ульрих. Мы сидели за столиком на террасе ресторана и обедали. Я предвидел, что разговор будет не из приятных, но не мог отказать во встрече человеку, который платит.

– Работа продолжается, – ответил я. – Я не имею права рассказывать вам подробности.

– Что значит не имеете права? Вы обязаны рассказать! Я его отец!

– Ваш сын – не продолжение вас, – напомнил я. – Он отдельная личность.

Ульрих посмотрел на меня как на ребенка, в которого приходится вдалбливать элементарные истины.

– Вы обязаны вкладывать в его мозги то, что говорю вам я, понятно?

Я молча глядел в тарелку.

– После вашей работы с Тео ситуация только ухудшилась, – продолжил Ульрих. – Он стал пропадать куда-то. На днях я выяснил, что он зачем-то ездит в Гамбург. Зачем? Что там происходит? Вы что-то знаете? Вы обязаны рассказать мне – я вам плачу.

– Платите вы, но мой пациент – он.

– Если мы сейчас не договоримся, я не буду платить, – сказал Ульрих.

Нет, вовсе не печаль я в этот момент почувствовал. Тоску. Это была тоска и глухая злоба. А еще можно добавить чувство безысходности и отчаяния.

Работать с его сыном бесплатно я не собирался. У меня уже есть бесплатный пациент, его вполне достаточно. Но бросать терапию с Тео из-за того, что за нее не платят, резать по живому – это было бы очень больно. Я вложил столько труда, творчества, энергии. Ну и что мне делать? Убить этого господина прямо сейчас, в ресторане? Но ведь мертвый он уж точно платить не будет.

Так уже бывало, когда терапия по каким-то причинам внезапно прекращалась, а я помимо воли продолжал оставаться в мысленных диалогах с пациентом. Знаете, это было мучительно.

Я знаю, что это непрофессионально. Знаю, что надо освободиться, проработать зависимость с помощью Манфреда, но я неидеален – так и не собрался к Манфреду. Наверное, я почему-то не хотел освободиться – хотел продолжать страдать.

Сидя напротив Ульриха, я вынужден был признать, что у меня так и не получилось стать безупречной психоаналитической машиной. Я почувствовал, что, даже если Ульрих перестанет мне платить, вполне вероятно, что я могу принять решение все равно продолжить работу с его сыном – бесплатно.

Я хотел работать за деньги. Когда чувствовал готовность продолжить работу бесплатно, то ощущал себя бессильным заложником чего-то, что сильнее меня. И эта несвобода меня угнетала. Это тоскливо – быть заложником.

Мое самое настоящее личное горе – что на нашей планете нет системы бесплатной терапии для каждого, кому она требуется. Терапия относится к элементарным потребностям человека – таким, как хлеб, вода, воздух, сон, спасение на воде и на пожаре.

До тех пор, пока люди не поймут себя, они не будут знать, почему они из века в век истребляют друг друга миллионами. Не узнают, почему, несмотря на то что все вокруг воспевают любовь, главными чувствами на нашей планете уже больше сотни лет остаются страх, тоска и злоба.

Наилучшая иллюстрация – именно этот надутый тупой индюк. Я делаю для его сына больше, чем делает он сам. Я веду сложную и опасную борьбу за его жизнь – я пытаюсь вырвать его Тео из лап смерти.

Да, именно так – этот господин думает, что мы занимаемся возней вокруг неподобающих открыток и спасаем отцовскую карьеру? Нет, на самом деле мы спасаем Тео от смерти на том самом этапе, когда она уже сжала свои холодные пальцы на его горле: Тео этого пока не знает и его отец тоже, а я это уже вижу – я уже видел трупы таких молодых людей. Один лежал на мостовой у шестиэтажного здания, другой – в горячей ванной родительского дома, а третий на гостиничной лестнице с иглой в локтевом сгибе. Труп Тео я тоже вижу – он висит в особняке Ульриха где-нибудь в оранжерее, среди крупных листьев тропических растений. И теперь этот надутый индюк вдруг заявляет, что перестанет платить мне за терапию его сына? Да ради бога!

Я почувствовал усталость. Вдруг осознал, что у меня стало слишком много врагов в борьбе со смертью: люди, нация, государственная машина, бодрая крикливая пропаганда, сам Тео с его больной системой ценностей, в которой на первом месте стоят интересы кого угодно, кроме собственных. Нет, я не буду работать бесплатно.

Я встал из-за стола. Фраза Ульриха о том, что он не будет платить за терапию сына, была последней в нашем диалоге. Он сначала не понял, зачем я встаю, – он понял это только тогда,

когда я бросил деньги на свободное место около своей тарелки. Он не ожидал, что я могу уйти так просто и так непочтительно, – даже не взглянув на собеседника и не попрощавшись.

* * *

Когда я вернулся домой, Рихард уже ждал меня. Он сидел в гостиной и с аппетитом поедал пирожки, которые утром испекла Рахель, – перед ним стояло большое блюдо, на котором возвышалась целая ароматная гора. Рахель стояла напротив и с улыбкой смотрела на Рихарда.

– Вкусно? – спросила она.

Рихард кивнул.

Раздеваясь, я бросил неодобрительный взгляд на Рахель.

– Извините, Рихард, я немного опоздал, – буркнул я. – Вы можете пройти в кабинет.

Рихард поднялся и, дожевывая пирожок, пошел за мной.

– Ваша жена вкуснее печет... чем пекла моя мама, – сказал Рихард, сидя в кресле для пациентов.

Я кивнул уклончиво.

– Я понимаю, вы не можете судить – вы не пробовали, – он задумался и продолжил: – В тот вечер у нее все сгорело. Это неудивительно. Она сама начала скандал. Как и всегда. Сначала в очередной раз обвинила меня в том, что она не замужем... Это пояснять?

– Если можно, – сказал я.

– Если бы я хорошо учился, был одаренным успешным мальчиком, отец, разумеется, перешел бы жить к нам. Но я не стал вундеркиндом и поэтому не выполнил задачу, ради которой меня родили. Это было сказано мне прямым текстом.

Я записал это в тетрадь – скорее не для того, чтобы сохранилось, а для того, чтобы немедленно разделить хоть с кем-то свой беззвучный крик – хотя бы с тетрадью.

– Потом я снова услышал, что, если бы она заранее знала, какой я окажусь бестолковый, она бы вообще меня не рожала. Своим рождением я парализовал ее: я много плакал, часто болел, но в результате так и не умер. Все это помешало ей получить профессию: стать медсестрой, или швеей, или счетоводом – я так и не понял, кем она хотела стать.

Я слушал и безостановочно записывал его слова в тетрадь.

– Эти разговоры я слышал с самого детства, – продолжал Рихард. – Я никогда не возражал: что я понимал во взрослых вещах? Но к тому вечеру я, наверное, что-то все же понял... Или просто устал от этого?.. Я впервые ей ответил. Я попросил не перекладывать на меня ответственность за свою жизнь: не делать меня виновным в том, в чем виновата она сама.

Я перестал писать...

– Мама сначала опешила, – продолжил Рихард. – Она, наверное, не ожидала. Потом взвилась, стала кричать. Я говорил с ней спокойно и тихо. Фразы вылетали из меня так, как будто я репетировал их целый год. Совершенно без эмоций, как из пулемета. У пулемета же нет эмоций? Нет, пулемет – это слишком быстро. Это был телеграф. Я сказал ей, что она ничтожество. Что она ни на что не способна. Что она никому не интересна...

Рассказывая об этом, Рихард побледнел, его глаза зло сузились, руки начали трястись, пальцы переплелись от волнения.

Я взял стакан с водой и сделал глоток – волнение охватило и меня тоже.

– После моих слов она как-то сникла. Отвела глаза. Сказала, что хочет спать. И ушла из комнаты. Несколько дней она была тиха и спокойна. Впервые в жизни ласкова. Мне даже показалось, что теперь она меня любит...

Рихард замолчал. Я терпеливо ждал, когда он заговорит снова. Через некоторое время он продолжил:

– Но вечером, когда я вошел к ней в комнату... Ее там уже не было. Когда она ушла от меня – два часа назад? Четыре? Вместо нее там висело... Ну, вы понимаете... Это была уже не она.

Он замолчал. В его глазах заблестели слезы. Если бы я мог в тот момент заглянуть в душу Рихарда и увидеть то, что возникло у него перед глазами, я увидел бы мокрое ночное шоссе – он рассказал мне об этом позже. Вдали по шоссе удалялись красные огоньки машины. Слышалось взволнованное дыхание ребенка. Ему было три или четыре года. Панически колотилось его сердце. Когда огоньки исчезли, осталась только тишина, крошечная темень, шорохи ночного леса. И в этой темени, где-то за спиной ребенка, – вдруг оглушительный, пугающий треск ветки. Он заставил ребенка вздрогнуть и оглянуться...

Мы молчали. Я не хотел ничего говорить.

– Она никогда не любила меня, – тихо сказал Рихард.

Он бросил на меня взгляд, как бы ища сочувствия и подтверждения своим словам, но я не дал ему ни того, ни другого – любую мою реакцию он мог интерпретировать сейчас по-своему, и это был бы уже не Рихард в чистом виде, а Рихард, отражающий меня и мою реакцию. А может, этими рассуждениями я просто защищался от того, чтобы не разволноваться.

– Она же знала, что у меня нет никого, кроме нее! – выкрикнул Рихард в отчаянии. В его глазах дрожали слезы. Он в волнении вскочил с кресла и выбежал из кабинета.

Я закрыл тетрадь, проложив текущую страницу карандашом. Поднялся с кресла, полил цветы из железной лейки и пошел в кухню. Рихарда в квартире уже не было, дверь за ним осталась распахнутой, я подошел и запер ее.

В кухне Аида помогала Рахели месить тесто. Первое, на что я обратил внимание, – это пустое блюдо от пирожков.

– Он съел все? – спросил я.

– Нет, – ответила Рахель. – Два последних доела Аида. Я сожалею, что тебе не осталось.

– Вовсе не обязательно закармливать пациентов пирожками, – сказал я. – Это неправильно. Вы вмешиваетесь в процесс терапии.

– Пирожками? – в недоумении спросила Рахель.

Мне трудно было рассказывать ей, как связана терапия Рихарда с поеданием пирожков и почему не следует мешать одно с другим. Я тогда еще не знал, что через какое-то время все равно придется возвращаться к теме этих пирожков, давая объяснения о них под охраной автоматчиков.

Утром следующего вторника я сидел в кабинете и поглядывал на часы. Кресло пациента пустовало. В дверь заглянула торжествующая Рахель.

– Видишь? – весело сказала она. – Сегодня я не испекла пирожков, и он не появился. Он приходит на мои пирожки, а не на твою терапию.

– Он не может знать заранее, испекла ли ты пирожки, – сказал я.

– Думаю, не учуяв сегодня никаких ароматов, он развернулся уже на лестнице, – весело сказала Рахель и скрылась за дверью.

Я отложил тетрадь, поднялся с кресла и принялся поливать цветы.

* * *

Я увидел его снова только осенью, когда листья уже облетели. Рахель попросила купить рыбу, я пошел на рыбный рынок и приобрел большую, тяжелую, серебристую; не могу назвать вам ее – плохо помню породы рыб. Память, знаете, и без того загружена, а тут еще и это надо помнить? Камбалу я отличу – она расплюснутая, а лицо у нее скособоленное, как у нашей соседки Этель, что живет на углу. Угря тоже отличу – он похож на змею. Но все остальные

породы – они для меня просто рыба. С какой стати я должен держать в памяти еще и рыбный отдел?

Прошу не думать, что я в беспамятстве. В каком возрасте был пациент Лемке, когда его папа начал регулярно целовать гениталии своего мальчика – это я отвечу вам без запинки, если вы разбудите меня даже ночью: ему было шесть. Что сказала мама, когда ее дочь впервые пожаловалась, что отчим к ней странно прикасается, я тоже прекрасно помню: «Не придумывай – все это твои фантазии. Если он уйдет, нам будет нечего есть». Но помнить названия рыб? Нет уж. Наш продавец и без меня прекрасно знает, какую рыбу предпочитает покупать Рахель. Достаточно того, что я помню возраст своей дочери – даже несмотря на то, что он коварно меняется каждый год. Так что договоримся, что, когда я встретил Рихарда, я нес просто рыбу.

Я возвращался домой, а впереди на влажном тротуаре какой-то работник в непромокаемом фартуке и перчатках мыл ящики из-под рыбы. Я хотел просто обойти его – так, чтобы он меня не забрызгал: в ящиках оставалось полно чешуи, и вместе с водой она тоже оказалась бы на мне – вот почему в центре моего внимания была эта вода с чешуей, а вовсе не лицо человека.

Работник, заметив меня краем глаза, быстро отвернулся и спрятался за ящики. Только тогда я бросил на него взгляд... и опознал Рихарда.

– Здравствуйте... – сказал он.

– Вы сказали, что работаете в морге, – сказал я.

– Здесь тоже.

– Вы бросили терапию.

– Да, – сказал он.

– А я ждал вас.

– Извините, что не сказал. Решил не продолжать.

– Почему?

– Ну... Не люблю воспоминания... Не верю в эти разговоры.

– Вы прервали живой процесс, понимаете? Я забыл предупредить, что я за это убиваю?

Я не должен был говорить так: только ему решать, ходить ко мне или нет. Но он не задумывался о своих правах, и это давало мне возможность манипулировать – он растерялся, его глаза забегали; он не знал, что ответить, и даже без рентгеновского аппарата было видно, как хозяйничает в нем сейчас чувство вины.

Впрочем, Рихард мучился недолго: наша замечательная эпоха помогла ему избавиться от чувства вины даже лучше, чем помог бы психоаналитик, – она предложила Рихарду прекрасную, универсальную и бесплатную психологическую защиту. Эта защита носилась в воздухе над всеми жителями Германии, нетерпеливо выискивая любого, кому вдруг сможет оказаться полезной.

– Я прочитал в газете, что к психоаналитикам-евреям ходить вообще нельзя.

Я внутренне восхитился изобретательностью Рихарда и его способностью быстро привлекать актуальные внешние ресурсы для защиты: если мы продолжим терапию, это обещало быстрое продвижение.

– Почему? – спросил я.

– Евреи пользуются тайным психическим воздействием. Типа гипноза. Они захватывают управление человеком и поработают его.

– Но уже поздно, – успокоил его я. – Вы у меня уже побывали. Вы поработаны. Мои щупальца уже у вас в мозгу. Бросать терапию теперь бессмысленно.

Рихард усмехнулся, но ничего не ответил.

– Мы даже не поговорили с вами про то, что случилось у меня на чердаке... – сказал я.

Теперь-то я и сам понимаю, что ошибся, – нельзя было упоминать про чердак. Но слова вылетели и все испортили.

– Не стоит говорить, – сказал Рихард. – Это был просто случай. Просто случай. Знаете, лучше бы вам действительно от меня отцепиться. Честное слово. Спасибо, что попытались. Да еще и бесплатно...

Мы замолчали. Я уже понял, что проиграл и что разговор окончен: он никогда больше не придет ко мне. Самым уместным было бы сейчас как можно быстрее попрощаться и уйти.

– Ну что ж, тогда до свидания? Мы закончили?

В глазах Рихарда вдруг мелькнул страх.

– Ну, наверное, я, вообще-то, мог бы заглянуть к вам еще разочек... – неуверенно сказал он.

Я знал, что он позарез во мне нуждается: он был по-настоящему одинок в этом мире, а я был единственным, кому он интересен как есть – злой, неудобный, отталкивающий, со всеми безрадостными рассказами, неуместными и неправильными чувствами, глупостью и болью.

К этому я прибавил бы и то, что мой возраст в его восприятии примерно соответствовал отцовскому, и это обстоятельство могло наделять наши отношения дополнительным содержанием.

Но если все это так, почему он бросил терапию? Это оставалось для меня загадкой.

– Смысл? – спросил я.

– Наверное, чтобы вывести вас на чистую воду, – усмехнулся он.

– Зачем вам это?

– Ну, любопытство... Чтобы помешать вам обманывать людей.

– Что вам эти люди?

– Вы правы – люди меня не волнуют. Пусть обманываются. Мне, наверное, самому интересно.

– Ну что ж, можем друг друга поздравить: у каждого есть интерес.

– А ваш? Он в чем?

– Наверное, хочу доказать себе что-то. Увидеть, что я сильнее вашей проблемы. Хочу победить.

– Но вы рискуете проиграть.

– Возможно. Я готов получить то, что мне полагается.

Рихард молчал. Он уже почти готов был сдаться, но какая-то часть его личности продолжала зло и упорно сопротивляться идее возобновления терапии. Поэтому когда в его голову пришла новая идея, которая могла все разрушить, он с радостью за нее ухватился, и я заметил, что лицо его ожило и озарилось.

– Вам, наверное, не слишком нравилось, что я встречался с вашей дочерью?

«Ах, вот оно что? Да, тут у него шансы есть...»

– С чего такое предположение? – осторожно спросил я.

– Аида рассказала.

– Да, мне не нравилось, что вы встречались, – честно ответил я.

– Вы же профессионал – вы видите меня насквозь. Вы наверняка уже поняли, что я неблагодарное животное. Могу укунить руку дающего. Если мы возобновим терапию, я снова буду видаться с Аидой. Только вы можете защитить от меня свою дочь.

Я растерялся. Разумеется, мое существо яростно противилось отношениям радостной, лучистой, легкой Аиды с этим мрачным тяжелым мешком с психологическими проблемами. Я не хотел, чтобы она тащила этот мешок на себе. А еще я понимал, что, если их отношения возобновятся, шансов на вмешательство у меня будет очень мало – Аида просто не станет меня слушать.

Этот парень ставил меня перед ужасным выбором.

Но если мои благородные попытки приведут к тому, что он согласится продолжить терапию, тогда получится, что я готов заплатить за это сомнительное предприятие своей дочерью

Аидой, притом добровольно. А он, благородный сказочный рыцарь, желающий спасти принцессу, сейчас по-хорошему меня об этом предупреждает.

Разумеется, я сразу же отверг навязанный выбор. Пусть подыхает, разговор окончен.

Когда я понял, что принял решение, мне стало легче. Я не спасатель. Зачем вообще я цепляюсь к этому парню? Что за бес в меня вселился?

Теперь, отдыхая наконец от самого себя в тихом саду посмертного спокойствия, я размышляю, что в те дни следовало поговорить с Манфредом, и тогда могло бы выясниться, что я вовсе не единственный человек на планете, кто мог бы помочь Рихарду. На каком основании я назначил себя на эту роль?

А еще могло выясниться, что Рихард вовсе не нуждается в моей помощи и нисколько не балансирует между жизнью и смертью, а значит, я назначил себя великим благородным спасателем совершенно безосновательно, и в этом случае идея оплаты за его терапию с помощью так называемого счастья моей дочери выглядит не только бессмысленной, но и абсурдной.

Не говоря уже о том, что Рихард и Аида, как ни парадоксально, могли оказаться друг с другом вполне счастливы, а значит, никакая это была бы не расплата, а наоборот.

Но я, должно быть, по каким-то причинам не хотел осознавать все это. Поэтому я и не пошел к Манфреду. Ну а если я не пошел к Манфреду, тогда какой смысл впоследствии удивляться, что эсэсовские ботинки Рихарда будут бить меня по голове, когда я буду лежать поперек пыльной сельской дороги?..

Как только я окончательно и бесповоротно утвердился в решении, что с терапией Рихарда навсегда покончено и тянуть его канатами к счастью я больше не буду, мой рот, к изумлению моих ушей, вдруг произнес:

– Ваш день – вторник. Время прежнее.

Вот так. Сказал и не поперхнулся. Рихард растерянно смотрел на меня. Он понял, что утратил последнюю надежду на то, что действительно никому не нужен.

Я поперся по улице со своей дурацкой безымянной рыбой. Рихард растерянно смотрел вслед. Уверен, что такого идиота он видел впервые в жизни.

Рыба, которую я нес, была большой и тяжелой. Каждую минуту она стремилась выскользнуть из бумаги – мне приходилось постоянно ее перехватывать, и это было ужасно неудобно. Как их носит Рахель? Почему у рыбы на спине не предусмотрена какая-нибудь ручка – например, как у чемодана?

Согласитесь – уже сто тысяч лет главенствующим биологическим видом на нашей планете является человек. Численность любого другого вида на Земле, будь то корова или курица, зависит только от того, насколько любезна она человеку. Если человеку нравится корова с большим выменем, будут выживать только те коровы, вымя у которых огромно. Человеку нравится курица, которая сносит по яйцу в минуту? Теперь у нас только такие курицы.

А лично мне нравится рыба, у которой на спине ручка, – чтобы нести, легко помахивая ею, как чемоданчиком или портфелем. Почему до сих пор не выжили только рыбы с ручками?

В этот момент я понял, что природе безразлично, откуда взялись факторы, к которым должен приспособиться биологический вид – главное, чтобы он к ним приспособился. Если возникнут условия, при которых будут выживать только удобные для транспортировки евреи с ручками, эволюции будет все равно, по каким государственным законам все теперь хотят только удобных евреев и почему никто не хочет неудобных. И тогда рано или поздно начнут рождаться евреи с ручками.

А что, если этот процесс уже идет и мы просто не замечаем его? Перехватив скользкую рыбу в другую руку, я пощупал у себя за спиной – между лопаток. Рука дотянулась с трудом, но стало ясно, что никакой ручки там еще нет. Я с беспокойством оглянулся по сторонам, и мне, признаться, стало страшно: я ведь понимал, что новые расовые законы предполагают

евреев с ручками. Тот факт, что я еще без ручки, делает меня недостаточно удобным, а значит – снижает мои шансы на выживание.

Однако уже в следующее мгновение я решил, что мир вокруг прекрасен и данную ситуацию я по непонятной причине всего лишь драматизирую – никто евреев никуда не перемещает и ручку нащупывать пока еще рано.

Я оглянулся по сторонам, и то, что увидел, прекрасно этот взгляд подтвердило: на подоконниках буйно росли цветы, откуда-то доносилась приятная музыка, за столиком уличного кафе две милые старушки пили кофе и кормили птичек, а неподалеку от них элегантный мужчина цветами встречал женщину, пришедшую к нему на свидание. В стороне от улицы располагался парк больницы: там росла мягкая пушистая травка, на скамеечках грелись на солнышке пациенты и мирно читали газеты с последними новостями...

* * *

Если исходить из того, что позже рассказал Тео, он в тот день лежал голышом в широкой двуспальной кровати в номере маленькой гостиницы по улице Штайндамм в Гамбурге, а рядом с ним лежал его друг Курт – Тео был знаком с ним уже более двух месяцев.

Курт моложе Тео, он работал моряком на рыболовном судне и выглядел как простой крестьянский парень – он казался Тео простым, естественным, радостным, а также уверенным в себе и всегда спокойным. Тео рядом с ним казался самому себе каким-то изломанным, тревожным, несчастным, затравленным и подавленным.

Тео выше Курта, однако по росту они казались одинаковыми: у Курта спина прямая, а Тео сутулился – вот что их уравнивало.

Фигура Курта казалась Тео более крепкой, гармоничной и привлекательной, чем его собственная, – своей фигуры Тео стеснялся: он казался себе слишком тонким, бледным, нежным. В отличие от Курта, он никогда не позволял себе расхаживать по гостиничному номеру голышом, а если раздевался и ложился в их кровать, то делал это быстро и сразу же прятался под одеялом.

Фигура Курта – более уверенного в себе и мускулистого, чем Тео, – больше отвечала стереотипу государственной пропаганды: везде рисовали именно таких, как Курт. В парках стояли скульптуры с подобными фигурами – в крепких руках с рельефными венами они держали флагштоки, ружья, шестеренки.

А такими, как Тео, чаще рисовали евреев. В каждой газетной карикатуре, в каждом сутулом худом еврее Тео видел себя. В конце концов он оказался этими карикатурами так затравлен, что ему стало чудиться, будто все окружающие тоже видят в нем еврея – даже когда он просто идет по улице.

Евреи, разумеется, были разными – и толстыми, и румяными, и крикливыми, и уверенными в себе, но все это не имело для Тео никакого значения – один проклятый образ из газеты, случайно попавшейся ему в руки, до такой степени пронзил Тео, до такой степени напомнил ему самого себя, что с тех пор Тео находился в постоянном страхе и каждую минуту ждал разоблачения.

Каждому прохожему Тео хотел доказать, что он не еврей. Но он не знал как. У евреев были желтые звезды, а у Тео не было, но отсутствия желтой звезды недостаточно. Тео ловил на улице случайно брошенный взгляд, терялся и понятия не имел, можно ли этому взгляду что-то противопоставить.

Чувство беспомощности угнетало и злило. Он думал о том, что государство должно как-то защитить его от подобной ситуации – например, если есть желтая звезда, наряду с ней должна быть какая-то антизвезда, какой-нибудь белый крест, например, или свастика – люди могли бы нашить их на себя добровольно, а также иметь в кармане подтверждающий сертифи-

кат. И тогда, взглянув на такого человека на улице, никто уже не подумал бы, что он может оказаться евреем – даже если худой и сутулый.

Некоторые гражданские по собственной воле носили повязку со свастикой поверх рукава пиджака или значок в петлице, но Тео этого не хотелось – ему больше подошел бы какой-нибудь простой и скромный знак арийской этнической принадлежности, а не слишком яркий и кричащий знак принадлежности политической – подобная принадлежность, по его мнению, более подходила толстошему варварскому простонародью с крепкими кулаками – Тео не хотел ассоциировать себя с бездумно боготворящими фюрера простолюдными с одной извилиной в голове.

Постоянный страх и напряжение так утомили Тео, что он ужасно разозлился на евреев. Их рисуют в газетах, их не любят. Почему они не сделали так, чтобы их все любили? Зачем они вообще есть? Ему очень захотелось, чтобы их не стало. Как только всех их уничтожат, из газет сразу же исчезнут карикатуры, и к Тео снова вернется законное право на бледность, сутулость, худобу – словом, на самого себя. По какому праву евреи посмели внешность Тео сделать в общественном восприятии еврейской?

Тео даже не заметил, что одновременно с надеждой на истребление евреев он стал мечтать о том, чтобы не стало заодно цыган, инвалидов, людей нетрадиционной ориентации. К последним он себя не относил – отношения с Куртом он считал чем-то отдельным, индивидуальным, особенным и никак не относящимся ни к какой более широкой категории.

В постели Курт был грубоват, он бесцеремонно поворачивал дело так, как нужно ему, и Тео это устраивало – ему нравилась чья-то власть, уверенность, нравилось подчиняться и быть ведомым. Курт восхищал Тео тем, что тот знал, чего хочет, и ясно ощущал свое право вообще чего-то хотеть – у Тео этого права не было.

Тео удивляло жизнелюбие, практичность и детская бесхитрость Курта – когда они касались интимных тем, он называл вещи своими именами, говорил просто и естественно, не подбирая слов и не используя стыдливых иносказаний. Курт легко рассказывал о предыдущих любовниках, а скованность и стыдливость Тео смешила его и вызывала иногда досаду.

Тео не мог понять, откуда в Курте естественность, легкость, радость и бесстрашие. Разве он не видит, как все опасно и рискованно? Разве не видит, как страшен мир? Разве не понимает, что все надо шифровать, скрывать, прятать? Разве не чувствует он свою незаконность, ущербность, уродство, свою неправильность с точки зрения даже самой природы, не говоря уже о точке зрения законов Третьего рейха?

А что, если Курт искренне не понимает, в каком мире живет? Разумеется, не понимает. Тео решил, что причиной внутренней свободы Курта может быть только одно – его плачевные интеллектуальные способности.

Гуляя по ветреным просторам Гамбурга, Тео пришел к выводу, что такой человек, как Курт, мог выжить только здесь, в этих ветрах. А в берлинских переулках Курт, наверное, не выжил бы...

Тео казалось странным и удивительным, что гомосексуальный мир Гамбурга – при всей постоянно крепнущей силе национал-социализма – продолжает уверенно жить своей жизнью. Тео даже подумал, что Гамбург словно волшебной стеклянной стеной отделен от всего, что есть вокруг назидательного, недовольного, строгого и мрачного – того, что так высокомерно по отношению к многообразной живой жизни и так уверено в правоте запретов, в которых обязаны жить другие.

Многие годы Тео догадывался, что мир, альтернативный берлинскому, где-то все же существует. Может быть, при надлежащем усердии его можно было разыскать даже в самом Берлине. Но приблизиться к нему Тео боялся даже мысленно, не говоря уже о приближении физическом.

Теперь неожиданно для себя Тео вдруг оказался в самом сердце альтернативного мира. Это произошло неизвестно как, по недоразумению – всего лишь потому, что его вечный страх отвлекся на что-то, зазевался и на несколько мгновений потерял бдительность.

За эти несколько странных мгновений Тео успел купить билет на поезд, приехать в незнакомый город и теперь ходил по его продуваемым ветром холодным улицам и, не веря своим глазам и ушам, вдыхал новый воздух – с жадностью и любопытством.

Как это могло произойти? Почему многолетний страх, не ослабевавший ни на секунду и державший Тео в напряжении днями и ночами, вдруг потерял бдительность? Где это случилось? Не в кабинете ли доктора Циммерманна? Или позже, на улице, возле отцовской машины?

Вопросы оставались без ответа, а все, что оставалось Тео, – наслаждаться неожиданно свалившимся на него счастливым компромиссом.

* * *

Гамбург благодаря морским портам будто не ощущал себя частью твердокаменной Германии – он жил как часть огромного мира.

Своим духом он был ближе к соседней Голландии, чем к Германии, – его порты были открыты всем направлениям света. Каждый корабль приносил сюда свежий ветер чужих обычаев и верований, странных способов жизни, удивительных заморских блюд, непонятных идей, психологий, философий.

Никакая единственная и бесспорная истина не могла устоять под напором свежего ветра: сталкиваясь с другими, она оказывалась уже не единственной, не бесспорной, она вынуждена была защищаться и спорить с огромным количеством альтернатив.

Она злилась, огрызалась и, как правило, проигрывала – даже не потому, что какая-то истина оказывалась лучше, а просто потому, что существование в течение некоторого времени в качестве единственной и бесспорной ослабляет любую истину, и она утрачивает навык защищать себя, теряет гибкость, затвердевает, становится ломкой.

Царством как раз такой негибкости и ломкости, в противовес Гамбургу, Тео воспринимал Берлин. Единый центр государственной мысли был составлен из строгих и внушительных правительственных зданий, собравшихся вокруг Вильгельмштрассе – этот мир знаком был Тео с детства: никакому легкомысленному ветру не позволялось разгуляться в его переулках и коридорах.

Этот мир добровольно закрыл себя от свежего воздуха. Все, что оставалось его обитателям, – дышать исключительно собственными идеями: они рождались прямо здесь – в духоте Вильгельмштрассе, и здесь же умирали – от врожденной нежизнеспособности.

Будучи уже мертвыми, они продолжали циркулировать в этих переулках и коридорах: в виде бумажек с гербами и печатями они разлетались отсюда по всей стране уверенными безапелляционными приказами о том, как надлежит жить людям, а также объемным перечнем строгих наказаний – за нежелание жить как указано.

Тео вспомнил: когда он иногда гулял по Вильгельмштрассе, ему казалось, что он задыхается, – он не мог найти причин и хоть как-то объяснить себе это странное ощущение. Оно посещало его именно там. Его даже к врачу водили, но никаких причин не выявили, и кончилось тем, что доктор посоветовал ему пить минеральную воду, делать глубокие вдохи и физкультурные упражнения.

Так Тео узнал, что есть врачи, которые убеждены, что минеральная вода и особые физкультурные движения способны облегчить психосоматику национал-социализма.

Подобную нехватку воздуха Тео ощущал и в коридорах отцовского ведомства, а иногда и в стенах родного дома. Маленький Тео тогда не думал о том, что свежие идеи не любят духоты. Дышать ему разрешалось только теми идеями, которые уже были тщательно проверены – то

есть теми, которыми уже дышал кто-то другой. Только сейчас, через много лет, повзрослев и разрешив себе дышать свежим воздухом Гамбурга, Тео осознал и почувствовал это.

Тео вполне допускал мысль о том, что Берлин, возможно, тоже был многолик. Но Тео никогда не соприкасался ни с каким другим Берлином, кроме предложенного отцом, – просто не мог знать того свободного, ироничного, остроязыкого Берлина, каким он был всего несколько лет назад и каким он и сегодня, наверное, еще оставался где-нибудь в неведомых далеких закоулках.

Беседуя с Тео, я записал в тетради мысль о том, что он, по сути, и не жил никогда в истинном Берлине – он жил в доме отца, общался с узким кругом тщательно отобранных людей – тех, кто был допущен в семью: как правило, это правительственные чиновники, военачальники, хорошо проверенная вышколенная прислуга. В условиях жесткой изоляции, строго соблюдавшейся в течение всей жизни Тео с самого детства, он неосознанно распространил свойства дома, в котором рос, на окружающий мир.

Тео не имел права заводить новых друзей, если они не одобрены отцом. А так как отец был недоволен всеми друзьями без исключения, у Тео их просто не завелось.

Тео не имел права запирать дверь своей комнаты. Отец в любую минуту мог войти к сыну без стука, мог порыться в его шкафу, столе, карманах, а если Тео лежал в кровати, отец мог сорвать одеяло, чтобы убедиться, что руки Тео не занимаются там ничем постыдным, недостойным и неприемлемым для арийца. Все это и было для Тео городом Берлином – царством запретов, страхов и постоянного напряжения.

Теперь, разрешив себе Гамбург, Тео понял, что обожает этот живой, непослушный, неправильный город, где живут такие, как Курт – тоже живой, неправильный, непослушный.

Здесь и самому не так страшно быть непослушным. Здесь, не раздумывая, готовы были даже с жизнью расстаться, если понадобится защитить свое маленькое неправильное счастье – и вовсе не потому, что жизнь малоценна: просто любую другую жизнь здесь считали смертью.

Только в Гамбурге Тео впервые показалось по-настоящему абсурдным, что общество вторгается в личную жизнь человека, лезет к нему в постель и строго регулирует его интимное поведение. А ведь в Берлине это казалось Тео нормальным.

Тео понимал, а точнее – интуитивно чувствовал, что обществу, вообще-то, плевать на то, что и как делает человек со своим партнером за закрытыми дверями спальни. Главным продуктом этого вторжения должно было стать вовсе не выполнение каких-то норм и правил интимного поведения, а чувство страха, вины, ощущение своей неправильности и незаконности.

Воспринимая себя ущербным, неудавшимся, неполноценным, человек отказывал себе в праве на защиту личных интересов и с готовностью поступался ими в угоду интересам общественным. Отказ от защиты личных интересов и должен был стать самым важным результатом государственного вторжения в интимную жизнь.

* * *

В Берлине таких мыслей к Тео прийти не могло. Там Тео иногда даже боялся думать – казалось, что его мысли кто-то слышит. Тео с самого детства хорошо знал, что не имеет никакого права на закрытое от всех пространство. А если нет ощущения права – нет и внутреннего протеста.

Тео смутно понимал, что, возможно, островки свободы могли существовать где-то в мире и кроме Гамбурга, и каких-нибудь других мальчиков там растят как-нибудь совсем по-другому, и никакой особой уникальности в недавно открытом для себя Гамбурге для таких мальчиков нет. Но Тео почти никогда не выезжал из Берлина: он всего лишь несколько раз ездил с родителями на отдых в сонную Померанию, на остров Рюген, где единственным ярким детским впе-

чтлением оставалась добрая сухая старушка, сидевшая однажды на пляже в плетеном кресле в своем полосатом купальнике.

Тео до сих пор прекрасно помнил ее – по крайней мере, считал нужным рассказать мне о ней, а я потрудился сделать запись в тетради – нисколько не предвидя, какие чувства будет испытывать Ульрих, когда впоследствии завладеет этой тетрадью и прочитает воспоминания сына.

В тот день маленький Тео бродил по пляжу. Когда он взглянул на старушку, она улыбнулась ему, поманила и протянула конфету. Тео хотел взять ее, но в этот самый момент старушка, потрясенная, должно быть, своей неожиданной добротой, а может, просто красотой белокурого маленького Тео, внезапно замерла, дыхание ее остановилось, конфета неподвижно застыла в ее руке, а голова свесилась набок.

В следующее мгновение конфета выпала из ее рук в песок. Тео смотрел на старушку, а потом опустил взгляд на конфету – она лежала в песке, но была в бумажной обертке, так что ее вполне еще можно было съесть.

Тео ясно осознавал, что конфета изначально предназначалась ему и только ему – он был единственным человеком на этой планете, кто доподлинно знал, какова прижизненная воля старушки. Вот почему, не прибегая к помощи никаких адвокатов по наследственному праву, Тео спокойно сел на корточки, взял упавшую конфету, развернул ее, уверенно сунул в рот и с наслаждением закрыл глаза.

С моря дул холодный ветер. Подлая смерть, забрав старушку в такой неподходящий момент, сделала все, чтобы забрать у маленького Тео эту конфету, но нет, маленький Тео не растерялся, он оказался хитрее смерти – он не позволил ей лишиться себя подарка.

Маленький Тео стоял на холодном пляже с закрытыми глазами, по его рту растекалась нежная сладость, и он ощущал полное право на эту сладость – она полагалась Тео потому, что он просто есть, он существует, он маленький, милый, красивый ангелочек, он прелесть и загляденье, он солнышко, принц и волшебство, и он всем нравится – вот почему ему полагалась конфета. А вовсе не потому, что он правильно держит руки под одеялом – старушка ведь понятия не имела о том, где и как он держит руки.

Никакая смерть не имела права отнять у Тео этот положенный ему яркий и выразительный знак безусловной любви – маленький, наполненный волшебной сладостью, нежный и упительный – как сам Тео...

Ах, как отличался тот далекий образ Тео от нынешнего – образа слишком бледного, слишком худого, слишком неправильного – образа презренного сутулого еврея, который безнадежно греховен во всем на свете, включая как то, что он существует, так и то, что он держит руки под одеялом с абсолютно недопустимой неправильностью.

С тех пор прошли годы, и Тео пришел к выводу, что в тот день на пляже он победил смерть не случайно: он победил потому, что эта конфета была предназначена именно ему, а не смерти. Смерть просто жадничала – ну зачем ей конфета?

Теперь, гуляя по улицам Гамбурга, Тео чувствовал, что этот город предназначен именно ему. Тео не хотел, чтобы смерть забрала у него Гамбург. Ну зачем ей Гамбург?

Старушка, кстати, так и осталась в тот далекий день сидеть в своем плетеном кресле. Когда маленький Тео, увлеченно посасывая конфету, пошел по песку в сторону гостиницы, в которой они всей семьей снимали дорогой многокомнатный номер, налетел порыв ветра. Тео маленькой ладошкой закрыл лицо от секущего песка, оглянулся и увидел, что ветер не пощадил и старушку – она, легкая, безжизненная, заблаговременно высохшая за много лет до смерти, вместе с креслом упала в песок лицом вниз.

Вспоминая этот эпизод, Тео сказал мне, что он, кажется, знает причину, почему некоторые люди в старости становятся легче и высыхают – нет, мумифицируются – столь заблаговре-

менно. Наверное, это происходит оттого, что их стыд за свое тело слишком силен, и мысль о людях, которым будет тяжело нести это тело в последний путь, кажется им невыносимой.

Записывая все в тетрадь, я не мог не сопоставить предполагаемый Тео стыд старушки за ее тело с подобным стыдом Тео за тело собственное.

Отвернувшись от упавшей в песок старушки, маленький Тео продолжил путь к гостинице. Конфета была очень вкусная. Со стороны гостиницы в сторону Тео и старушки уже бежали встревоженные люди...

Рассказав о детстве, Тео без всякой связи перескочил обратно к своим гамбургским впечатлениям. Он сказал о том, что в последнее время каждое возвращение в Берлин после нескольких дней в Гамбурге становилось для него все более тягостным. Вернувшись домой после очередной поездки, лежа в своей берлинской комнате, он закрывал глаза и видел гамбургские шпили, отражавшиеся в волшебном озере в центре города. А еще он думал о том, что Гамбург мог и не произвести на него такого впечатления, если бы ему не встретился там Курт.

* * *

Рядом с Куртом Тео особенно остро ощущал себя унылой перепуганной частью серого официального Берлина. Тео все чаще подумывал о том, чтобы как-нибудь сбежать от отца, сбежать из Берлина, остаться в Гамбурге навсегда.

Эти его мысли я тоже записал в тетрадь, хотя они не были так уж важны – если бы я мог предположить, что его отец будет впоследствии читать все это, я, разумеется, не оставил бы ни строчки.

Тео сказал, что когда он думает о том, сколько сил и энергии тратит общество на преследование людей нетрадиционного счастья, то приходит к мысли, что общество само до чрезвычайности несчастно. Разве можно представить счастливого человека, который болезненно, тревожно и подозрительно подглядывает в замочную скважину за чужой жизнью – вместо того чтобы радоваться собственной? Счастливому не хочется никого убивать. Счастливому хочется только одного – делиться своим счастьем и чтобы оно длилось и длилось.

Для Тео само собой разумелось, что если общество хочет испортить кому-то жизнь – гомосексуалу, еврею, цыгану, англичанину, французу, восточноевропейскому недочеловеку, инвалиду, психбольному, неважно кому, – то дело здесь вовсе не во вреде, который приносит обществу этот неполноценный или расово ущербный злодей, а в каком-то «огромном общественном несчастье».

Тео физически чувствовал это непонятное несчастье – действительно огромное, общее на всех, – оно было словно разлито в воздухе, делая жертвой каждого, кто дышит этим воздухом. Но что это за несчастье? Может быть, бедность? Безработица? Послевоенные репарации? Нет, что касается бедности, Тео считал ее обыденной и привычной: бедный человек веками смиренно гнул спину и не делал из этого никакой трагедии.

Русские, в начале двадцатого века перевернувшие свою страну вверх дном, тоже, по мысли Тео, стали жертвой ощущения большого и таинственного «общественного несчастья». Они, разумеется, не осознавали этого и причиной революции тоже считали бедность. Тео эту причину отвергал как слишком простую, лежащую на поверхности, маскировочную. Тео был убежден, что ощущение несправедливости, вызванное разницей в уровнях достатка, является слишком убогой причиной для вдохновения людей на убийства друг друга.

Поиск сути общественного несчастья, на которое случайно набрела беспокойная мысль Тео, не давала ему жить, не поддавалась осмыслению, оставалась нерасшифрованной. Одно из предположений Тео заключалось в том, что объективно жизнь людей не так уж плоха, даже если они живут впроголодь и не знают, что ждет их завтра. Все животные на нашей планете живут впроголодь, и никто из них не знает, что будет завтра. Однако они живут так сотнями

тысяч лет, и ни одна мышь, лиса или олень не делают из этого трагедии. Они приняли это и считают нормальным.

То, что животные, в отличие от людей, не обладают разумом, Тео нисколько не смущало. Он был убежден, что если бы природа сочла жизнь впроголодь и без знания завтрашнего дня чем-то действительно ужасным и по-настоящему опасным для выживания вида, борьбу с этим она заложила бы в инстинкты – чем и компенсировала бы отсутствие разума у своих подопечных.

Если олень видит медведя, в нем включается сильнейшая тревога, и он изо всех сил убегают. Но чтобы олень обратился в паническое бегство просто перед лицом неизвестности завтрашнего дня? Или бросился драпать куда-то, просто обнаружив в себе чувство голода? Нет, такая реакция оленю в голову не приходит. Ни голод, ни незнание будущего природа не считает чем-то ужасным, критическим, опасным. А если так, с чего вдруг из-за подобных обстоятельств люди примутся убивать друг друга сотнями тысяч?

Тео даже предположил, что объективно люди могут оказаться далеко не так несчастны, как им кажется. Иначе говоря, их «общественное несчастье» может не носить объективного характера. Но тогда получается, что кто-то целенаправленно убедил их, что они жертвы? Кто? С какой целью?

Почему люди оказались так легко восприимчивы к идее, что они чьи-то жертвы? Не потому ли, что они и раньше без всяких пропагандистов смутно ощущали в себе накопившуюся обиду, тоскливое, печальное, туманное и необъяснимое чувство жертвы – непонятно кого или непонятно чего...

Если это так, то когда к людям неожиданно пришли некие пропагандисты, сформулировали их смутные ощущения, рассказали им, чьи они жертвы, на кого должны быть обижены и почему, тогда люди, наверное, даже испытали чувство облегчения и ясности, а к пропагандистам – благодарность.

Пропагандисты облекли это странное чувство людей в конкретные слова, узаконили и даже похвалили за него – оказалось, что государство поддерживает людей в их обиде, разрешает ее испытывать, поэтизирует и даже предлагает испытать своего рода гордость, не говоря уже о пьянящем и воодушевляющем чувстве всеобщего единения в общенациональном переживании одной на всех обиды. Обида спланивала, объединяла и становилась прекрасным средством против одиночества, пустоты и бессмысленности.

Пропагандисты дали людям предельно конкретное и исчерпывающее объяснение о природе злодеев, чьими жертвами люди оказались. Подробно рассказали, какие гадости эти злодеи сделали, а также научили, как с ними следует бороться, чтобы перестать быть их жертвами. Им объяснили: борьба нужна, чтобы люди больше не ощущали никакого «общественного несчастья», а ощущали только покой, радость и гармонию.

Теперь «общественное несчастье» внутри каждого человека стало неотъемлемой частью его личности, старым другом, привычкой, даже супругом. Человек с ним сросся и уже не мог без него жить. Если появлялся кто-то новый, кто почему-то считал, что люди – никакие не жертвы и нисколько на самом деле не «несчастливы», люди сами с негодованием прогоняли этого возмутителя спокойствия – кому охота вместо ощущения жертвы ощущать себя пустотой?

Ощущать себя жертвой – это хоть какое-то ощущение самого себя, хоть какая-то жизнь, а пустота – это ничто, а значит – смерть. Тео считал, что именно ради бегства от пустоты и смерти народ так увлекся переживанием своего «несчастья», так обрадовался поискам его причин, так разгорячился преследованием своих обидчиков и переживанием мстительной радости их уничтожения.

Альтернативой этим переживаниям могли бы стать переживания любви, радости и покоя, но трудно представить, чтобы тихие и счастливые переживания могли стать основой для мощ-

ного объединения огромного количества самых разных людей, укрепления государственной власти, стремительного роста чьих-то политических карьер.

На обиходах политическую карьеру выстроить легко, а на любви и покое невозможно. Так необходимость строительства чьих-то политических карьер смогла заставить людей добровольно отказаться от таких ценностей, как любовь, покой и радость, – вместо них несчастные одураченные люди выбрали ненависть, злобу, вражду, и, как следствие, бомбы. И впоследствии на их города посыпалось то, что они выбрали.

* * *

Тео рассказал мне, что, еще будучи в Гамбурге, он испытывал потребность поделиться с кем-то переполнявшими его мыслями, и потому при случае он попытался поговорить об этом с Куртом. Но оказалось, что это счастливое существо, живущее, как собачонка, лишь сегодняшним днем, совершенно неспособно мыслить: когда Тео принялся объяснять Курту идею «общественного несчастья», Курт сказал, что не понимает, что это такое, и в ту же минуту пожелал, чтобы они купили себе к ужину мороженое.

Тео понял, что, если Курта не интересует эта тема, значит, сам Курт, что удивительно, не является частью огромного «общественного несчастья». Курт жил отдельной жизнью и был вне немецкой нации. А точнее, вне ее господствующего образа, насаждаемого пропагандой.

Пропаганда, по мнению Тео, создавала у нации определенный образ самой себя. Этот образ был выгоден тем, кто пропаганду оплачивал. Она навязывала образ нации, сфокусированной не на сегодняшнем дне, а на будущем – там располагалась некая цель, к которой нация должна быть устремлена.

Немца приводили к убеждению, что он не просто человек, который живет, стирает белье, ест, работает, а потом умрет, и его закопают, и все это неизвестно зачем. Вся унылая обыденность повседневности, попадая в волшебный луч пропаганды, оказывалась не такой уж унылой и бессмысленной, потому что, оказывается, скучная рутина – часть большого и волнующего процесса, она служит великой цели успешного движения нации в прекрасное будущее.

Для успешного движения к будущему от каждого немца требовалось уметь быстро и точно определить, куда отнести любого случайно встреченного человека – к своим или к чужим. Сделать это следовало в соответствии с удобными для каждого, ясными и простыми критериями.

У русских, кстати, тоже была цель, и она тоже располагалась в будущем. И – надо же, какое совпадение – они тоже объявили ее великой. И ради нее каждому из них следовало жить не «сейчас», а ради будущего. И для этого надо было уметь быстро, успешно и неукоснительно разделять людей на своих и чужих: именно это, по мысли коммунистов, должно впоследствии привести их страну к чему-то там светлому.

Курт, согласно наблюдениям Тео, не стремился ни к какой великой цели: он жил сегодняшним днем, радовался простым вещам и свободе. Это избавляло его от необходимости делить людей на своих и чужих. Благодаря этому сердце Курта наслаждалось роскошной и бездумной возможностью обожать всех подряд и радоваться каждому.

Такая позиция делала Курта совершенно бесполезным для государства – разумеется, если не считать выловленной им рыбы. Государство ничего не потеряло бы, если бы этот парень был убит на фронте или умер от потери крови при неловко сделанной принудительной кастрации в каком-нибудь концлагере для неправильных, или просто забит до смерти случайными подростками в темном переулке – если бы был замечен, к примеру, целующимся с другим парнем. Что касается рыбы, ее в этом случае продолжал бы вылавливать кто-нибудь другой, и таким образом государственная безостановочность ее поедания была бы обеспечена.

Самым удивительным и даже потрясающим в Курте было для Тео то, что сознание Курта, несмотря на вненациональный и абсолютно свободный образ жизни, под самую крышку забито всевозможным мусором. Как только Курт открывал рот и начинал рассуждать, оказывалось, что он обожает фюрера: вздохнул говорил о великом будущем новой Германии, сокрушался, что евреи выпили из Германии всю финансовую кровь, а теперь допивают остатки реальной крови, ежедневно вкушая немецких младенцев.

Получалось, что в мире одновременно сосуществуют как бы два совершенно разных Курта – один живущий, а другой рассуждающий. Один – глупый и счастливый, а другой – умствующий и злобный. Пока глупый Курт просто живет, проводит время в пивнушках и спит с мальчиками, он – прекрасное и ничем не затуманенное божье создание типа бабочки или птички. А когда он открывает рот, чтобы как-нибудь поумнее высказаться о современных проблемах, – тут надо бежать от него сломя голову: потому что, если услышишь от него хоть слово, можно превратиться в соляной столб.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.